

# Федор Александрович Абрамов

## Алька

Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер... Как в колхозе живут, что в районе деется... А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три-четыре дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.

И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:

– Еще, еще чего?

– Да чего еще... – пожимала плечами Анисья. – Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем...

– Слышала! Сказывала ты про клуб.

– Ну тогда не знаю... Все кабыть...

Тут Маня-большая – она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить госте, – догадалась наконец разговор перевести на другую колею.

– Все нас да нас пытаешь, – сказала Маня, – а ты-то как живешь-можешь в своем городе?

Алька блаженно, до хруста в плечах потянулась, почесала голой пяткой гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом.

– Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чистенькими каждый месяц, ну, и сотняга – это уж само малочаевые...

– Сто девяносто рублей? – ахнула Маня.

– А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жиго, люля-кебаб, цыплята-табака... Слышала про такие блюда? То-то! А подать-то их, знаешь, как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули – и лопай. А у нас извини-подвинься...

Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий самовар, чашки, и стаканы – на поднос, поднос на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.

– А задок-от, задок-от у ей ходит! – восхищенно зацокала языком Маня. – Кабыть и костей нету.

– А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».

Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам.

– Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик – закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нет, сам за рояль и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два...», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку...». Сняли. За насаждение порочных нравов... в советском быту... Теперь у нас такой зануда директор – выше колена юбку не подними. Не по кодексу. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся. По городам летать...

– А Владислав-то Сергеевич как? – спросила Майя.

– Чего Владислав Сергеевич?

– Ну, в части препятствий... Жена с молодыми мужиками...

Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алька не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов.

Но Алька не любила хитрить, как ее покойница мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:

– Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.

– Ты? Сама? – У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.

– А чего? Он шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?

– Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич алиментщик? – еще пуще прежнего удивилась Маня.

– Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной. Я сдуру-то, когда он от нас удрал, не сказавши, обревелась. Думаю – все: пропала моя головушка. К евонному начальству в городе прикатила – слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальиик-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я – дай бог силы – и руками, и ногами отпихиваться стала. Сообразила! До восемнадцати лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?

Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.

Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила – только пыль клубилась на дороге.

– Свадьба, что ли, какая? – спросила она у старух.

– Не, то скотницы, – ответила Анисья. – С утрешней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.

– А чего им не с песнями-то? – фыркнула Маня. – Деньжища загребают – ой-ой!

– А Лидка Вахромеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?

– В доярках. Только теперь она не Вахромеева, а Ермолина.

– Кто – Лидка не Вахромеева? Дак чего же вы молчали?

– Да я писала тебе, – сказала Анисья. – Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.

– Чего-чего? За Митю-первобытного? – Алька расхохоталась на всю избу. – Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!

– А теперь не потешается. Теперь – муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то – золото!

– Да какое золото! – хмыкнула Маня.

– Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! – горячо вступилась за Митю Анисья. – Человек весь колхоз отстроил – шутка сказать! А сами-то они коль дружны, ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила, к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нонешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет...

– А все равно недотепа, мозги набекрень, – твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что старуха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке – это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.

\* \* \*

Алька уже выбегала сегодня на улицу и, как говорится, успела и ноги в утрешней росе прополоскать, и солнышка утрешнего ухватить; а вот как она истосковалась по своей деревне – козой запрыгала от радости, когда спустилась с крыльца.

Ей всюду хотелось побывать сразу: и на горках, за дорогой, у черемухового куста, возле которого она, бывало, с отцом поджидала возвращавшуюся с пекарни усталую мать; и на лугу, под горой, где все утро заливается сенокосилка; и у реки...

Но верх над всем взяла деревня.

Деревни, по сути дела, она еще и не видела. Приехала ночью, в закрытом райкомовском

«газике» (чтобы пыли меньше было) – много ли нагладишь? А утром – глаза не успела продрать – Маня-большая. Никто не звал, не извещал – сама приперлась. Просто нюхом своим собачьим учуяла, где задарма выпить можно.

Первый человек, которого встретила Алька на улице, была Аграфена Длинные Зубы. Соседка. Через дом от тетки живет. В детстве, случалось, и вицей ее драла, злая, ухватистая старуха. А тут – просто потеха! – не признала. Потыкала, пожевала ее своими оловянными глазищами, а голосу так и не подала. Штаны сбили с толку?

Штаны у нее – шик. Красные, шелковые – прямо огонь на ногах переливается. Да и все остальное, кстати сказать, – первый сорт. Белая кофточка с глубоким вырезом на груди, туфли модные на широком каблуке, сумочка черная, ремешок через плечо – чем не артистка?

Завидев дом Петра Ивановича – как белопалубный пароход выплыл на повороте дороги, – Алька подтянулась.

Хоть и никогда она не заискивала и не лебезила перед этой старой лисой, а все-таки и она в Летовке родилась: знала, кто Петр Иванович.

Но, господи, разве обойдешь, объедешь в страдную пору ихнюю Лампу? Вынырнула из полевых ворот с большущим кузовом травы – в небо упирается, как сказала бы мать.

Босиком, в бабьем платье до пят, вся употела, ужарела, ну как тут не признать свою учительницу!

Да, вот так: Гагарин шар земной вокруг облетел и помереть успел, американцы на Луну слетали, она, Алька, бабой стала, а ихняя Лампа без перемен: как шлепала с кузовом травы десять-пятнадцать лет назад, так шлепает и сейчас. Правда, укорять Евлампью Никифоровну за то, что она всю жизнь возится с коровой, может, и не стоит – тяжело, голодно жили после войны. Но ведь сейчас не старые времена. Сейчас колхозники, и те не очень-то за буренку держатся, а ведь она учительница – ей ли всю жизнь из навоза не вылезать?

Алька вспомнила про черные очки в белой пластмассовой оправе – Томка перед отъездом навязала – быстро вынула их из сумочки, надела на глаза, напустила на себя строгость и двинулась к Евлампии Никифоровне – та как раз пристроилась к изгороди на передышку, одной рукой кузов с травой поддерживая, а другой по-бабьи, головным платком вытирая свое запотелое лицо.

– Гражданка, вы что же это? Ай, ай, ай! Нехорошо!

– Да чего плохо-то? Не знаю, как вас звать, величать...

– Траву плохо с колхозного луга таскать.

– Да я вовсе и не с луга. Я закраишек у полей маленько покочкала, – начала жалостливо канючить Евлампия Никифоровна. Ну точь-в-точь как деревенская баба, которую поймал с травой председатель колхоза.

Алька кашлянула для важности, нажала на басы:

– Какой пример колхозникам подаете, товарищ Косухина?

– Нехороший, плохой пример. Это вы правильно сказали. Учту...

– То-то же! А то ведь можно и оштрафовать. Понятно вам?

Тут уж Евлампия Никифоровна начала просто расстилаться перед грозным начальством:

– Понятно, как не понятно. Ну вы-то учтите, уважаемая, – болею я. А травка-то у нас далековато, а коровушка-то у меня молодая, без травки и не подоить...

– Ладно, товарищ Косухина. Только чтобы это последний раз.

– Последний, как не последний. Все будет сделано, как говорите. Сама не буду ходить и с другими работу проведу...

Больше Алька выдержать не могла – так и схватилась за живот, а потом сняла очки и как ни в чем не бывало сказала:

– Здравствуйте, Евлампия Никифоровна.

Евлампия Никифоровна с минуту, наверно, перебирала своими толстыми, потрескавшимися от жары губами. Наконец разродилась.

– Все безобразничает, Амосова. – Она ни разу в жизни не назвала ее по имени.

– Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна. Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин.

Евлампия Никифоровна потянула воздух носом.

– А напилась тоже в шутку?

– Да что вы, Евлампия Никифоровна... Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить да маму с папой помянуть.

– Родителей не так, Амосова, поминают. Родители у тебя труженики были. Пример для всех...

– А я что – не труженица? Тунеядка какая? Не сама хлеб зарабатываю?

Евлампия Никифоровна строгим учительским оком оглядела Альку, задержалась взглядом на ее красных, жарких, как пламя, штанах.

– Моральности не вижу, Амосова. Моральный кодекс строителя... Ну да ты еще в школе не больно честь девическую берегла...

Алька крепко, так, что слезы из глаз брызнули, закусил нижнюю губу, затем живо кивнула на двух работяг из смехколонны – так прозвали у них за пьянство мехколонну, которая еще в ее бытность в деревне начала ставить столбы для электросети, да так до сих пор и ставит.

– Это что, Евлампия Никифоровна, электричество у нас будет?

– Электричество, Амосова, – назидательно сказала Евлампия Никифоровна. – Колхозная деревня за последние годы добилась больших успехов...

– Значит, и у нас скоро будет лампочка Ильича?

– Будет, Амосова. Стираются грани и противоположности между городом и деревней...

Алька простодушно, совсем как ученица, потупила глаза – чего-чего, а сироту она разыграть умела.

– Евлампия Никифоровна, а когда лампочки Ильича у нас зажгутся, что же с лампами керосиновыми будет? В утиль их сдадут але как?

Евлампия Никифоровна так и осталась стоять с разинутым ртом, не больше, не меньше как Аграфена Длинные Зубы, а она, Алька, еще и задом крутанула: на, получай сполна, святоша!

Переживать, травить себя из-за того, что кое-какую припарку Лампе сделала? Нет, Алька и не подумала. Во-первых, Лампа заслуживает. Все девчонки и ребята стоном стонут из-за нее, когда в техникум или училище поступают. Все хорошо сдают – математику, физику, географию, а до русского письменного дошли – и сели. А во-вторых, когда переживать?

Новые дома (штук пять насчитала за хоромами Петра Ивановича), бабы, ребятишки, собаки – все так и навалилось на Альку, едва она отчалила от Лампы.

Пека Каменный, выскочивший из-за угла на колесном тракторе, можно сказать, сразил ее наповал. Давно ли, в прошлом году, наверно, еще за каждой машиной гонялся – подвезите! Дайте проехаться! – а теперь вот и сам за рулем. Рот мальчишечий до ушей – через стекло видны белые редкие зубы, круглое лицо закопчено, как у трубочиста, – иначе какой же ты механизатор! – и веточка красной смородины над радиатором. Для форсу – знай наших!

Увидев ее, Пека высунул из кабины свою счастливую белозубую мордашу, крикнул:

– Чего такие штаны надела? Сожгешь еще деревню-то! – И весело, по-детски захохотал: самому понравилась шутка.

Штаны, между прочим, залепили и Паху Лысохина, который громко, как все глухие, закричал со стены – дом зятю, рабочему из-за реки, строит:

– Флагом задницу обернула – мода теперь такая, а?

С Пахой Лысохиным Алька с удовольствием бы поточила зубы. Веселый старик. Третью жену недавно схоронил, а, по рассказам тетки, уж к Дуне Девятой подбирается. На сорок пять лет моложе себя.

Но до старика ли, до трена ли было Альке сейчас, когда впереди, напротив школы, замаячил новый клуб под белой шиферной крышей! Про клуб этот она уже знала, тетка и в

письмах писала ей, и сегодня утром, за чаем, сказывала, а вот что значит собственными глазами увидеть: дух от радости перехватило, сердце запрыгало в груди.

– Сюда, сюда, красуля!

Засмотревшись на большущее брусчатое здание, у которого не было еще ни дверей, ни рам, Алька и не заметила строителей. А они поленицей лежали на дощатом настиле перед окнами – черные, белокурые, рыжие, кто в трусах, кто в плавках, и синий дымок от сигарет плывал над их разномастными головами.

– Загораем, мальчики? – она, как в кино, вскинула руку (привет, дескать), а потом лихо прошила своими красными штанами выгоревший пустырь, отделявший дорогу от стройки.

Строители вскочили на ноги, задробили, заприплясывали, в воздух полетели штаны, рубахи, кеды, и Алька сразу поняла, что это за публика. Студенты. Главная рабочая сила в ихнем колхозе летом.

– Ну, показывайте ваш объект, – сказала Алька. Она еще и не такие словечки знала: не зря два года в городе прожила.

К ней чертом подскочил чернявый студент со жгучими усиками, как сказала бы Томка, Вася-беленький, каких та особенно любила. Он успел уже когда-то натянуть на себя защитную штурмовку с закатанными по локоть рукавами и такие же защитные джинсы со множеством светлых металлических заклепок.

– Прошу, – сказал он, шутливо выгибаясь в поклоне, и подал ей согнутую в локте руку.

Алька приняла руку, по сходням поднялась в помещение.

Клуб был что надо. Фойе, зал для танцев, зал для культурно-массовых мероприятий (да, так и сказал Вася-беленький, он был у студентов за старшего), две большие комнаты для библиотеки. Хорошо! Непонятно только, кто будет танцевать и культурно проводить время в этих задал: в деревне зимой студентов и отпускников нету, а свою коренную молодежь по пальцам пересчитать можно.

– Эх, жалко, – вырвалось у Альки, – музыки нету. Не потанцевать в новом клубе.

– Кто сказал, что музыки нету? – воскликнул Вася-беленький.

И тут произошло чудо: рокаха! Самая настоящая рокаха загремела в заднем углу, где были сложены всякие инструменты.

Альку бросило в жар – с детства самая любимая работка – молотить ногами. Ну и дала жизни, обновила половицы в новом клубе. Сперва с Васей-беленьким, потом с другим, с третьим, до десятка счет довела. Студенты выли от восторга, рвали ее друг у друга, но Алька не забывалась: в деревне – не в городе. Скачи да и по сторонам поглядывай, а то попадешь старухам на зубы – жизни не рада будешь.

– Спешу, спешу, мальчики! В другой раз.

Затем прежний, по-киношному, взмах рукой, широкая улыбка для всех сразу – и пошла вышивать красные узоры по выжженному солнцем пустырю.

В деревне в страдную пору, ежели и есть где жизнь днем, так это на почте. Почту, в отличие от колхозной конторы и сельсовета, ради работы не закрывают, а потому все отпускники первым делом тащатся на почту.

Алька, однако, не добралась в этот день до почты. Ибо только она вышла на земляничный угор к старой церкви, как чайчыми криками взорвался воздух:

– Аля! Аля!

Кричали из-под угора, с луга, кипевшего разноцветными платками и платьями. И не только кричали, а и махали граблями: к нам, к нам давай!

Алька много не раздумывала: туфли на модном широком каблуке в руку и прямо вниз – только камни на тропинке заскакали. А как же иначе? Ведь если на то пошло, она больше всего боялась встречи со своими вчерашними подружками: как-то они посмотрят на нее? Не начнут ли задирать свои ученые носы студентки и старшеклассницы?

Сено на лугу, под самым угором, было уже убрано, и ох же как впились в ее голые ноги жесткие, одеревеневшие стебли скошенной травы. Но разве она неженка? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? В общем, колючую луговинку перемахнула, не поморщившись, с ходу

врезалась в девичий цветник.

– Аля! Аля! – Десятки рук обхватили ее – за шею, за талию, – просто задушили.

– Девки, девки, где наша горожаха?

А вот это уже Василии Игнатьевич, ихний председатель сельсовета, да бригадир колхоза Коля-лакомка, два старых кобеля, которые всю жизнь трутся возле девок.

Трутся вроде так, из-за своего веселого характера, а на уме-то у них – как бы какую девчонку прижать да облипить.

Девки со смехом, с визгом рассыпались по лугу, ну, а Алька осталась. Чего ей сделается? А насчет того, чтобы осудить ее за вольность, это сейчас никому и в голову не придет. На публике, на виду у всех – тут все за шутку сходит.

Но все-таки она не считала ворон, когда Василий Игнатьевич взял ее в оплет (просто стон испустил от радости) – туфлями начала молотить по мокрой, потной спине. Крепко, изо всей силы. Потому что, если говорить правду, какая же это радость – осатанелый старик тебя тискает?

Возня на этот раз была короткой, даже до «куча мала» не дошло дело. Старухи и женки завопили:

– Хватит, хватит вам беситься-то! Не видите, что над головой.

Над головой и в самом деле было не слава богу: тучки пухлые катались. Как раз такие, из которых каждую минуту может брызнуть. Но тучки эти еще куда ни шло – ветришко начал делать первые пробежки по лугу.

Василий Игнатьевич кинулся к своим граблям, брошенным возле копны, теперь уж не до шуток. Теперь убиться, а до дождя сено сгрести.

– Девчата, девчата, поднажми! – закричал.

А девчата разве не свои, не колхозные? Неужели не понимали, какая беда из этих тучек грозит? Разбежались с граблями по всему лугу еще до председательской команды.

Коля-лакомка, весь мокрый (два ведра воды девки вылили), на бегу кинул свой пиджак: постели, мол, на сене мягче сидеть. Но Алька даже не посмотрела на пиджак. Она быстро надела свои шикарные туфли на широком модном каблуке, схватила чьи-то свободные грабли и давай вместе со всеми загребать сено. Потому что, ежели сейчас рассестись на виду у всех, как предлагает ей Коля-лакомка, разговоров потом не оберешься. Старухи и женки все косточки перемоют, да и девчонки не будут на запоре рот держать.

Василий Игнатьевич дышал, как загнанная лошадь, охапки поднимал с воз и все-таки не успевал копнить все сено. Пигалицы, самая мелкота, вились вокруг него, а ковыряли грабельками – росли перевалы.

Ему пыталась подсобить Катя Малкина, внучка старой Христофоровны, такая же совестливая да сознательная, как сама Христофоровна. Да разве это по ней работа?

И вот Алька начала понемногу захватывать сено, так, чтобы поменьше мельтешилась в глазах эта трудолюбивая малявка, потому что охапки носить она не приспособлена сегодня – не та одевка, а во-вторых, с какой стати рвать жилы? Рогатка, что ли, у нее во дворе плачет?

Но бабы, до чего хитры эти бестии бабы!

– Алька, Алька, не надорвись!

– Алька, Алька, побереги себя!

Ну и тут она не выдержала.

Знала, помнила, что подначивают, нарочно заводят, а вот, поди ты, завелась. Сроду не терпела срамоты на людях.

В общем, колесом завертелось все вокруг. Василий Игнатьевич – охапку, она – две, Василий Игнатьевич – шаг, она – три.

Белая кофточка на ней взмокла (с превеликим трудом достала в одном магазине через знакомую продавщицу) – плевать! По загорелому лицу ручьями пот – плевать! Руки голые искололо, труха сенная за ворот набилась – плевать, плевать! Не уступлю! Ни за что не уступлю!

И не уступила.

Василий Игнатьевич, старый греховодник, когда кончили луг, не то чтобы облапить ее (самый подходящий момент – такое дело своротили!), даже не взглянул на нее, а тут же, где стоял, свалился на луг.

Да и Коля-лакомка, даром что намного моложе председателя, тоже не стал показывать свою прыть.

Три часа, оказывается, без перекура молотили они – вот какой ударный труд развернули!

Это им объявил только что подошедший председатель колхоза – он тоже, оказывается, шуровал, только на другом конце луга, со старухами.

Председатель был рад-радехонек – много сена наворочали. Девчонки подсчитали: 127 куч!

– Тебя, Алевтина, благодарю. Персонально. Ты свои штаны как знамя подняла на лугу.

– Да, да, умеет робить. Не испотешилась в городе.

Бабы снятыми с головы платками вытирали запотелые, зажарелые лица, тяжело переводили дух, но улыбались, были переполнены добротой. Точь-в-точь как мать, когда та, бывало, досыта нарабатается.

Кто-то к этому времени поднес ведро с водой, и председатель колхоза, зачерпнув кружку, собственноручно подал Альке: дескать, премия. И люди – ни-ни. Как будто так и надо.

В кружке плавала сенная труха – наверняка ведро стояло где-нибудь под копной, в холодке, но она и не подумала сдуть труху, как это бы сделала ее брезгливая мать: всю кружку выпила до дна, да еще крякнула от удовольствия.

Председатель совсем расчувствовался:

– Переходи в колхоз, Алевтина. Берем!

– Нет, нет, постой запрягать в свои сани! Дай советской власти слово сказать.

Василий Игнатьевич подал голос. Отлежался-таки, пришел в себя. Грудь, правда, еще ходуном и руки висят, но глаз рыжий уже заработал. Как у филина заполыхал.

Вот какая сила лешья у человека!

– Нет, нет, – сказал Василий Игнатьевич. – Я первый. Мне помощницу надо.

– Тебе? По какой части? – игриво, с намеком спросил председатель колхоза и захохотал.

Василий Игнатьевич строго посмотрел на него, умел осадить человека, когда надо, иначе бы не держали всю жизнь в сельсовете, сказал:

– У меня Манька-секретарша к мужу отбывает. Так что вот по какой части.

Тут бабы заахали, замотали головами: неуж всерьез?

Сама Алька тоже была сбита с толку. Грамотешка у нее незавидная, мать, бывало, все ругала: «Учим, учим тебя, а какую бумажонку написать – все иди в люди», – кому нужен такой секретарь?

Взгляд Василия Игнатьевича, жадно, искоса брошенный на нее, кажется, объяснил ей то, до чего бы она так и не додумалась.

Э, сказала она себе, да уж не думает ли он, старый дурак, шуры-муры со мной завести? А что – раз ни баба, ни девка – почему и не попробовать в молодой малинник залезть?

Меж тем бабы засобирались домой. На обед.

К Альке подошла тетка – она, конечно, была тут, на лугу. Старая колхозница – разве усидеть ей дома в страдный день?

– Пойдем, дорогая гостьюшка, пойдем. Я баню буду топить. Вон ведь ты как выгвоздалась.

Выгвоздалась она страсть: и кофточку, и штаны придется не один час отпаривать, а может, и вовсе списывать.

Так что восемьдесят-девяносто рубликов, можно сказать, плакали.

Э-э, да тряпки будут – были бы мы!

Задор, лихая удаль вдруг накатила на Альку.

– Девчонки, айда на реку!

Девчонки, казалось, только этой команды и ждали.

С криками, с визгом кинулись вслед за ней.

Малявки поскидали с себя платяшки еще по дороге, это всю жизнь так делается, чтобы без задержки, с ходу в реку, а когда спустились с крутого увала на песчаный берег, быстро разделись и девчонки. Разделись и со всех сторон обступили Альку.

Все ясно, усмехнулась про себя Алька, – какой у тебя купальник? Так уж устроены все девчонки на свете с рождения тряпичницы.

Есть, есть у нее купальник. Такой, что в ихней деревне и не снился никому, – темно-малиновый, шерстяной, с вшитым белым ремешком, с карманчиком на молнии (зимой три часа на морозе выстояла за ним в очереди).

Но разве она думала, что ей придется купаться сегодня?

И все-таки – врите! Не у вас – у меня будет самый красивый купальник. В один миг Алька сбросила с себя все до нитки.

Девчонки ахнул: им и в голову ничего подобного не могло прийти, потому что кто же нынче купается голышом? Трехлетнюю соплюху, и ту не затащить в воду без трусиков.

На ребячьем пляже – рядом – закричали, застонали, но и там скоро захлебнулись.

Гордо, слегка откинув назад голову, понесла она к воде свое молодое, цветущее тело.

Под ногами певуче скрипел мелкий белый песок, жаркий травяной ветер косматил ей волосы, обнимал полные груди, собачонкой юлил в ногах.

– Альчик, – сказал ей однажды расчувствовавшийся Аркадий Семенович, – я бы, знаете, как назвал вас, выражаясь языком кино? – Он любил говорить красиво и интеллигентно. – Секс-бомбой.

– Это еще что? – нахмурилась Алька.

– О, это очень хорошо, Альчик! Это... как бы тебе сказать... безотказный взрыватель любой, самой зачерствелой клиентуры. Это солнце, растапливающее любые льдины в мужской упаковке...

И это верно. На самую трудную и капризную клиентуру высылали ее. Или, скажем, начальство в ресторан пожаловало, да еще не в духе, – кого послать, чтобы привести его в божеский вид? Ее, Альку.

Она попробовала ногой воду – теплая, посмотрела на небо – черной тучей перекрыло солнце, посмотрела на всполошившихся сзади девчонок и побежала вглубь: чего бояться? Разве впервой купаться при дожде?

Реку она переплыла без передышки, вышла на берег, ткнулась в песок.

Девчонки ей кричали: «Аля, Аля!» – махали платками с того берега (похоже, и в воду не заходили), а она, зарывшись в теплый песок, сжимала руками мокрую голову и молча глотала слезы.

Ее с первого класса в школе считали отпетой, а мать, как она запомнила, только и твердила ей: «Смотри, сука! Только принеси у меня в подоле – убью!» А она, поверит ли кто, до позапрошлого лета не переступала черты. Целоваться целовалась и тихоней, как некоторые, не прикидывалась: гуляю! Сама, ежели надо, на шею парню вешалась. Но ниже пояса – ша! Посторонним вход запрещен.

И даже в тот день, когда нежданно-негаданно на пекарню нагрянула мать с ревизией, она не отступила от этого правила. А уж как в тот день не приступал к ней Владик!

Просто руки выламывал.

Мать, родная мать, можно сказать, толкнула ее в руки Владика. Влетела в пекарню, глаза горят – что тут выделяешь, сука? За этим тебя сюда послали? А потом вдруг ни с того ни с сего поворот на сто восемьдесят градусов: винцо на стол и чего, Алевтинка, дуешься? Чего кавалера не завлекаешь?

Вот этого-то она, Алька, и не могла стерпеть. Она сказала тогда себе, выскакивая из окошка пекарни: ежели догонит меня Владик, пускай что хочет со мной делает.

Владик догнал ее у реки, почти на том самом месте, где она сейчас лежала...



Дождь хлынул как из ведра – без всякой разминки – и в один миг смыл с нее тоску. Да и некогда было тосковать. Почерневшая река застонала, закипела – страшно в воду войти, а не то что плыть.

На домашнем берегу, когда она, пошатываясь, вышла из воды, не было уже ни одной души: все удрали домой – и девчонки, и ребята. Она коротко перевела дух, сгребла в охапку свои шмотки – не до одеванья было сейчас! и большим белым зверем кинулась в шумящую, грохочущую темень...

Гроза начала стихать, когда Алька была уже в поле, на своей Амосовой меже.

Дождь лупил по-прежнему, будто в пять-десять веников хлестали ее по спине, по ногам, по животу, по-прежнему слепила глаза молния, но гром уже уходил в сторону. И вдруг, когда она выбежала из полей на луг, снова загрохотало. Да так, что земля застонала и загудела вокруг.

Ничего не понимая, она остановилась, глянула туда-сюда и просто ахнула. Кони, сорвавшиеся с привязи, кони носились по выкошенному лугу у озерины. От их копыт шел громовой раскат.

Она разом вся натянулась – так бы и кинулась наперегонки! – но одумалась: из деревни увидят, девка с лошадьми голая по лугу бежит, – что подумают? Зато уж в гору она вбежала без передышки – отвела душеньку, и на теткину верхотуру влетела – тоже ступенек не считала.

– У-у, беда какая! Гольем...

– Да откуда ты, девка? У нас, кабыть, еще середка дни одевку не симают?

Старухи! У тетки пусто никогда не бывает, а сегодня, похоже, весь околоток собрался. Афанасьевна, Лизуха, Аграфена Длинные Зубы, Таля-ягодка, Домаха-драная и, конечно, Маня-большая... Шесть старух! Нет, семь.

Христофоровна еще в уголку за спинкой кровати сидела.

Бросив к печи, на скамейку, мокрые красные штаны и белую кофточку (она, конечно, была не «гольем», а в лифчике и трусиках), Алька прошла за занавеску, быстро переоделась и выкатилась к старухам в коротеньком, на четверть выше колена, платьишке – нарочно, чтобы позлить их.

Но старухи поумнели, видно, покамест она была за занавеской – ни одна не проехала насчет ее платья; да, по правде говоря, ей и плевать хотелось на их суды-пересуды: она так проголодалась за день, что как собака накинулась на уху из мелкой местной рыбешки, которую Анисья уже поставила на стол.

– Ешь, ешь, девка, – одобрительно закивали старухи. – Заслужила.

– Как не заслужила! Двух мужиков до смерти загнала. Василии-то Игнатьевич, сказывают, без задних ног в гору подняться не мог. На лошади увезли.

– Дак ведь родители-то у ей какие! Что мать, что отец...

– Да, да! Уж родители-то твои, девка, поработали. У-у, какие горы своротили!

Так ли – от души, от сердца нахваливали ее старухи и добрым словом помянули отца с матерью или лукавили маленько в расчете на легкую поживу – кто их разберет.

Только Алька, не долго думая, выкинула на стол десятку: вот вам от меня привальное, вот вам поминки.

Маня-большая вприпляс побежала в ларек, у Аграфены Длинные Зубы заревом занялось лошадиное лицо – тоже выпить не любит, и Домаха-драная с Талей-ягодкой не замахали руками. Отказались от рюмки только Христофоровна да Лизуха.

– Чего так? – спросила Алька. – Деньги копить собрались?

– Како деньги. Велика ли наша пенсия...

– Староверки! – презрительно фыркнула Маня-большая. – У нас та, дура-то стоеросовая, тоже в ету компанию записалась.

Алька переспросила: кто?

– Матреха. Кто же больше?

– Майя-маленькая? – несказанно удивилась Алька.

– Ну.

– И не пьет?

– Не. По ихней лернгии это дело запрещено.

– Для души твердого берега ищут... – какими-то непонятными, не совсем своими словами начала разъяснять тетка, и из этого Алька поняла, что и она где-то в мыслях недалеко от того берега.

– Ладно, – отмахнулась Маня-большая, наливая себе новую стопку, – плакать не будем. Нам больше достанется.

– Ты-то бы помолчала, бес старый! – сердито замахнулась на нее рукой строгая Афанасьевна (она только из вежливости пригубила рюмку). – Сама-то бы ты пей, лешак с тобой! Да ты ведь и ребят-то молодых в яму тащишь. «Голя, засуху спрыснем... Вася, давай облака разгоним...»

В воздухе, как говорится, запахло скандалом – всем известно было, что у Афанасьевны внук спился, и Алька вмешалась.

– Не переживай, – сказала она Афанасьевне. – Береги здоровье. Ноне все пьют. У нас в городе, знаешь, кто не пьет? Тот, у кого денег нету, да тот, кому не подают, да еще Пушкин. А знаешь, почему Пушкин не пьет? Потому что каменный – рука не сгибается... – Алька коротко рассмеялась.

Старухи тоже пооскаляли беззубые рты, хотя анекдота, конечно, не поняли: в городе добрая половина ни разу не бывала – откуда им знать про памятник?

Христофоровна – она морщила чаек, вернее, кипяток на черничной заварке – учтиво спросила:

– А домой-то уж не собираешься, Алевтина?

– Чего она дома-то не видала? – с ходу ответила за Альку Маня-большая.

– Да хоть те же хоромы родительские. Я поутру на свое крылечко выйду да увижу ваш домичек – так-то жалко его станет. Невеселый стоит, как, скажи, сирота бесприютная...

– Запела! Нонека деревни целые закрывают да сносят, а она по дому слезу лить... Эпоха, – добавила по-книжному Маня-большая и икнула для солидности.

Алька со своей стороны тоже успокоила старуху (хорошая! В детстве всегда подкармливала ее, когда мать задерживалась на пекарне):

– Хорошо живу, Христофоровна. И место денежное, и работа – не заскучаешь. А уж насчет еды – чего хошь. Только птичьего молока разве нету.

Аграфена Длинные Зубы не без зависти сказала:

– Чего там говорить. Кабы худо было – не бежали бы все в города.

– Да пошто все-то? – возразила тетка. – Вон у нас Митрий Васильевич... В городе оставляли – не остался...

– И мой племяш возвернулся, – сказала Лизуха. – Я, говорит, тетка, деревню больше уважаю...

– Не сидят, не сидят ноне люди на месте, – снова вступила в разговор Христофоровна, которая только что закончила пить чай и по-старинному опрокинула свою чашку кверху дном. – Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять – из города – деревни...

– Каким это тем не хватает деревни? – усмехнулась Маня-большая. – Я что-то таких не видала.

– Да как не видала. У меня девушки-студентки из города целый месяц жили – разве забыла?

– А, эти ученые-то огарыши...

– Нет, нет, Марья Архиповна, – мягко, но твердо возразила Христофоровна, – нельзя так. Не заслужили. Уж хоть говорится – городские люди шибки, а я того не скажу. Хорошие, уважительные девушки. Без спросу воды из ушата не напьются, а не то чего... Я говорю: чем так у нас пондравилось – третье лето подряд ездите? Смеются: «За живой водой, говорят, бабушка...»

Маня-большая ядовито захихикала – страсть не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь, – но Алька так посмотрела на нее, что та живо язык прикусила.

И вот снова летним ручейком побежала неторопливая речь Христофоровны:

– Не пообижусь, не пообижусь на девушек. Уважительные, разговористые. За мной весь день ходят, чуть не по пятам ступают да все, что ни скажу, записывают. Что вы, говорю, девушки? Зачем вам все это? Чего, говорю, вам темная старуха наскочит – ни одного дня в школу не ходила? Вас, говорю, надо записывать, а не меня, вы, говорю, институты кончаете, науки учите.

Смеются да целуют меня: еще, еще, бабушка... Да чего еще-то? «Да про эти институты, про науку...»

– Видно, нынешние-то науки послабже против прежних, раз бабку старую теребят, – заметила Аграфена Длинные Зубы.

На это Алька решительно возразила:

– Ничего подобного! Наука у нас хорошая, передовая – кто первый спутник запустил? – Она не могла молчать в таком разговоре, ей надо было свою марку поддержать. – А что студенты к вам ездят да всякие сказки записывают, дак это так и надо. Поняли?

– А туюски-то им берестяные зачем? – спросила Таля-ягодка. – Ко мне на подволоку залезли – всю пыль собрали, два туюска да старую ложку нашли. Ложка некрашена, – большая – не в каждый рот влезет, бывает, еще дедко наш ел. Да что вы, говорю, девки, с ума посходили! Неужто, говорю, из такой страховодины петь будете? «Будем, будем, бабушка!» Тоже все на смех...

– А почему иконы-то в городе? – Домаха-драная рот раскрыла. С позевотой. Всю жизнь на ходу спит. Мужик, говорят, порол-порол, да так и умер, не отучивши.

– Да, да, – поддержала Домаху Афанасьевна, – был у нас в прошлом году мужик с черной бородой, из каких-то нерусичей. В каждом доме иконы спрашивал.

Насчет икон у Альки не было определенного мнения.

С одной стороны, ей с первого класса в школе внушали: религия – мрак и опиум; а с другой стороны, правы старухи: блажат в городе. Была она как-то в областном музее – две комнаты больших под иконами занято. И экскурсоводша, очкарик такой на воробьиных ножках, на Тонечку Петра Ивановича похожа, только что не рыдала, когда начала говорить об этих иконах. «Самое ценное сокровище нашего музея... Специальный температурный режим...»

– С иконами надо полегче. Не очень чтобы... – ответила неопределенно Алька и встала, подошла к окну, за которым заметно посветлело.

Она распахнула старую раму, с удовольствиемхватила широко раскрытым ртом свежего пахучего воздуха, потом долго смотрела на искрометные лужи на дороге, на черные, курившиеся паром крыши домов.

– Ягоды-то нынче есть? Нет?

Старухи ей не ответили. Им было не до ягод. У них шел новый разговор – разговор о пенсиях, а это значит: хоть из пушек пали – не отступятся. До тех пор будут молотить, пока не разругаются.

Алька прилегла на кровать.

В пенсиях она, пожалуй, понимала еще меньше, чем в иконах. Старухи эти горы работы переделали, в войну, послушать их, на себе пахали вместо лошади, да и после войны немало лиха хватили, а пенсия у них до последнего времени была двенадцать рублей. И вот эти бывшие «двенадцатирублевки» (придумал же кто-то прозвище!) отводили душу в разговорах, мочалили тех, кто получает больше, рекой разливались, вспоминая свою прошлую жизнь...

Алька сперва слушала старух с интересом. Просто блеск как отделили Маню-большую – та как «рабочий класс» (двадцать пять лет разламывала на кирпич монастырь в соседней деревне) получала сорок пять рублей, а потом пошли причитания, слезы, и ее сморило.

Последнее, что она запомнила (или это приснилось ей?), были слова Христофоровны.

Только уже не о пенсиях, а о живой воде:

– Нельзя, нельзя человеку без живой воды, – говорила Христофоровна. – Вот и ищут ее люди, кто где может. По всему свету шарят...

Сперва широкая тележница, уезженная, ухоженная, – полем, светлым березняком; потом Ефремова роستانь, темный вековечный ельник, рыжие насыпи муравейников возле толстенных, истекающих смолой стволов; потом туда-сюда – охотничья тропка. Крутила – вертела, прыгала, бежала – по веретейкам, по холмикам, по белым, высланным оленьим мохом горюшкам, хлюп – и увязла в болотине...

Сразу притихшая тетка, совсем как, бывало, мать, сняла с руки ведро, торопливо перекрестилась и пошла кланяться направо и налево. Желтым, янтарным ягодкам, которые, как свечки, горели на зеленом водянистом мху.

А Алька не торопилась. Достала пузырек с жидкостью от комаров (эти дьяволы стоном стонали вокруг), аккуратно намазала лицо, руки.

Она не собиралась идти за морошкой – сроду не любила этого дела, и хоть мать и ругала ее и даже била не раз, сделать из нее ягоdniцу не смогла.

Сбила Альку тетка. Тетка за утренним чаем стала напевать: надо бы пройтись по материным местам, покойницу вспомнить...

Морошки в лесу было мало. За два часа броженья по сырой раде<sup>1</sup> Анисья кое-как прикрыла дно своего ведра, а Алька еще ни одной ягоды не кинула в посудину – все в рот. Сладка, медом тает во рту зрелая морошка, а та, которая не совсем дошла (на краснощекую девку похожа), та еще лучше – на зубах хрустит.

Анисья конфузилась.

– Не знаю, не знаю, куда подевалась ягода, – говорила она. – Мы, бывало, здесь ходим с твоей матерью да с отцом – ступить негде. Как, скажи, шалей желтых настлано.

По ее настоянию они двинулись вправо к просеке, – может, на светлых местах повезет больше? Капризная ягода эта морошка – каждый год на разных местах растет. Но возле просеки и на самой просеке не только морошки, морошечника не было.

– Вот какая из меня вожея, – еще пуще прежнего приуныла Анисья. – Я ведь все перепутала. Нам не сюда надо было идти, а как раз наоборот. Это ведь Екимова ворга<sup>2</sup> кабыть... Але Максимова?

Альке было все равно: Екимова так Екимова, Максимова так Максимова. Она бросила пустое ведро наземь и побежала к мостику – двум березовым кряжикам, переброшенным через ручей, – все во рту пересохло.

Но не так-то просто, оказывается, напиться с мостика: хлипкий. Тогда она решила зачерпнуть воды с берега – пригоршней, стоя на корточках.

– Постой, постой, – закричала Анисья, – тут ведь где-то посудинка должна быть.

Она ткнулась к одной ели, к другой, к третьей и вдруг вышла сияющая. С берестяной коробочкой в руке.

– Чья это? Как тут оказалась? – спросила Алька.

– Отцова. Отец это делал для твоей матери.

– Отец?

– Отец. А кто же больше? И мостик – он. Мать ведь у тебя, знаешь, как ходила? Широко. Круто. Вся раскалится, зажарится – пить, пить давай. У ей завсегда, и до пекарни, жажда была. Как, скажи, огонь горит внутри. Я такого человека в жизни не видала...

С коробочкой напиться было нетрудно – только черпай да черпай.

Вода пахла болотом, торфом, но не зря отец в каждом ручье устраивал водопой – усталость как рукой сняло.

---

<sup>1</sup> Рада – лесистое болото.

<sup>2</sup> Ворга – охотничья тропа.

Тетка тоже напилась и даже сполоснула лицо, а потом повесила коробочку у мостика на самом видном месте: пускай и другие попользуются.

Они поднялись в угорышек, сели на сухую еловую валежину. Мокрая берестяная коробочка зайчиком играла на солнце.

– Папа маму любил? – спросила Алька и задумчиво, как бы заново посмотрела по сторонам.

– Как не любил! Кабы не любил да не жалел, не наделал бы везде мостиков да коробочек. Пойди-ко по лесам-борам вокруг. В каждом ручье коробочка да мостик.

– Что же он, нарочно ходил или как?

– Коробочки-то когда наделал? Да в ту пору, покуда отдыхаем. Долго ли умеючи мужику бересту содрать да углом загнуть!

Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глянцевиные макушки берез. Шелестели, искристо вспыхивали.

Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест, и вдруг догадалась: материн.

Не все, не все ругала да сторожила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно после удачной выпечки хлеба. Тогда она как воск – проси что хочешь. Первые свои часы – в двенадцать лет – Алька выпросила в такую минуту.

– Тетка, – сказала Алька тихо, – я чего у тебя хочу спросить... Поминала меня мама перед смертью?

– Как не поминала... Родная мать, да чтобы не поминала... Уж очень ей хотелось, чтобы у вас все ладно да хорошо было. Гордилась, что ейная дочь за офицером.

А как река-то весной пошла, велела кровать к окошку подвинуть да все на реку глядела. «Вот, говорит, скоро пароходы будут, гости к нам наедут – это ты-то да Владик, – здоровья мне привезут...»

– Так и говорила: «здоровья привезут»?

– Так. – Анисья вдруг всхлинула, уткнулась лицом в ладони, – А ты, вот видишь, девка не девка и баба не баба... С таких-то лет... Да еще вчерась утром начала выхваляться, при Мане все выкладывает. Разве не знаешь, что у той во рту не язык, а помело? Уж по всему свету растрезвонила. Вчерась та, Длинные Зубы, закидывала петли, пока тебя с реки не было. «Что, говорит, Алевтина не могла зауздать офицера? Прогнал?»

– Прогнал! – рассердилась Алька – Я ведь тебе писала – сама отрубила...

– Плохо рубить, когда сама ворота настежь раскрыла. Уж надо притираться потихоньку друг к дружке...

– Это к нему-то притираться? Да он двойные алименты платит! Мозгов, что ли, у меня нету – его кисели расхлебывать...

– И насчет своей работы тоже бы не надо трубить – на каждом углу, продолжала выговаривать Анисья. – Что за работа такая – задом вертеть? Да меня золотом осыпь, не стала бы себя на срам выставлять...

Так вот зачем позвала ее тетушка в лес! – подумала Алька. Для политбеседы. Чтобы уму-разуму поучить.

А у самой-то у ней есть ум-разум? Всю жизнь мужики обирали да разоряли – хочет, чтобы и племянница по ейным следочкам пошла?

– Ну, насчет работы давай лучше не будем! – отрезала Алька. – Мы, между прочим, тоже за коммунистическую бригаду боремся. А та бы, длиннозубая, взвыла, кабы день с нами поробила. Задом крутить! Ну-ко покруче. Повертись с утра до ночи на ногах да поулыбайся ему, паразиту пьяному... А один раз у меня курсанты удрали, не заплативши, – с кого тридцать пять рублей получить? С тебя? С Пушкина?

– Да я ведь к слову только, Алюшка... – залепетала, оправдываясь, Анисья. – Люди-то судачат...

– Люди! Ты все как мама-покойница: дугой согнись, а лишь бы люди похвалили. А насчет мужиков, тетка... – Алька улыбнулась. Свистну – сегодня полк будет!

– С полком-то жить не будешь, – опять насупилась Анисья. – Надо к берегу приставать, пристань свою искать...

– Подождем! – К Альке окончательно вернулось хорошее настроение, и ей захотелось немножко поскалить зубы. – «Чего жалели, берегли, на то налог наложили...»

Слышала такую частушку? Ну дак в городе, тетка, за это теперь не держатся. У Томки, моей подружки один знакомый морячок в Германии Западной был – знаешь, как там делают? До женитьбы живут. Да открыто. Без всякой утайки.

– Господи, какой ужас!..

– Чего ужас-то? А у нас, думаешь, не так? Мой благоверный – это Владик-то – знаешь, как мое девичество оценил? «Я думал, ты современная девочка... Надо было предупредить по крайней мере...» Не вру!

Анисья решительно не понимала, о чем говорит племянница, и Алька, дурачась, закричала на весь лес:

– Подъем, Захаровна!.. Политбеседу мы с тобой провели знатно – пора и за дело.

Еще час-полтора помесили мокрую болотину, поныряли в старых выломках, в пахучих папоротниках, еще раз прополоскали горло из такой же точно берестяной коробочки, из какой пили в Екимовом ручье, а потом вдруг заблудились. Кружили, шлепали по темной раде – в ту сторону, в другую подадутся, а выйдут все к одному и тому же месту – к старой, поваленной ветром ели.

Солнца наверху не было, оно, как назло, село в облако, чахлые елушки да ельники они читать не умели – не каждому дается лесная грамота. Что делать? Кричать?

Огонь разводить?

Выручил их... трактор.

Вдруг, как в сказке, зачихало, зафыркало где-то слева в стороне, тетка помертвела: нечистая сила, ну а Алька с распростертыми руками кинулась навстречу этой нечистой силе.

И вот десять минут не пробежала – старый осек,<sup>3</sup> а за осеком – покружила, поерзала меж осин и березок – зеленая полевина.

Она с лицом зарылась в душистую, нагретую солнцем траву, громко расхохоталась. От радости. От изумления.

Господи, они измучились, из сил выбились, таскаясь по болотам, по выломкам, думали, забрались невесть куда, а оказалось – у самых навин<sup>4</sup> бродят.

Анисья – она только подошла с двумя ведрами, – со своим и Алькиным – от стыда не знала, куда и глаза девать: это ведь она в трех елях запуталась, и разговор перевела на траву.

– Смотри-ко, как жизнь повернула. Бывало, здесь травинки не увидишь – все унесут, а тут лето уж усыхать стало – полно травы.

– Маму бы сюда, – сказала Алька.

– Да, уж мама твоя с травой побилась. Мы с Христофоровной тело обмывать стали – господи! Во все правое плечо мозоль. Затвердела, задубела, как, скажи, кость.

– Неужели?

– Вот те бог. Христофоровна тогдашь только головой покачала. Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видела.

– А маме все завидовали: хорошо живешь...

– Хорошо. Почто не хорошо-то? Только многие ли так робили, как твоя мама? Бывало, с пекарни придет, близко к осени, уж темно, а она кузов на плечо да за травой, да еще по сторонам оглядывается – как бы кто не поймал. А теперь-то чего не жить. На трудовень сено дают, и так подкосить можно. Не хотят с коровой валандаться. У Егорковых животину

---

<sup>3</sup> Осек – лесная изгородь.

<sup>4</sup> Навины, или новины – поля, отвоеванные у леса. Во многих северных колхозах они составляют большую часть пахотного массива.

нарушили, Петр Иванович молоко в лавке покупает – все каждое утро с ведерышком ходит...

– Что ты говоришь! – воскликнула Алька.

Сено да корова – всегда первый разговор в деревне, и она, конечно, слушала тетку. Не забыла еще, как сама дугой выгибалась под кузовом. Но вскоре у нее скулы стало воротить от тоски, потому что тетка – известно опять начала наставлять ее на путь истинный: дескать, оставайся дома, не ездь никуда. Дом у тебя – поискать таких, и за ум возьмешься – замуж выйдешь...

Синий дымок клубами взлетал в низинке за кустарником, раскаленный мотор распевал свои железные песни...

Кто там работает? Как выглядит тот, который выручил ее из беды?

Алька встала.

– Насчет жизни в другой раз поговорим, а теперь пойду на трактор взгляну.

– Пойди, пойди, – живо согласилась Анистья (она всегда и раньше поощряла интерес племянницы к деревенским работам). – Это, вишь, кто-то под рожь пашет.

В крохотном родниковом ручейке под березой Алька старательно умылась, расчесала свою рыжую гриву, пересыпанную хвойными иголками, и на поле выскочила – держись, тракторист! Настроение такое – проглочу и выплуну!

А через минуту она чуть не каталась от смеха. Потому что кто же сидел за рулем трактора? Кого она собиралась проглотить и выплунуть? Пеку Каменного. Его улыбающаяся черномазая мордаха высунулась из пропыленной кабины.

– Ты чего это ходишь? – спросил Пека, подъезжая к ней. – На природу интересуешься, да?

– На природу.

– Ну дак ты вот что... знаешь-ко, куда сходи? К Косухину полю. Там толсто черемухи – я вчерась весь объелся. Сладкая – сладкая...

– Ладно, схожу, – Алька поставила ногу на железную, до блеска надраенную сапогами подножку, ради любопытства заглянула в кабину. Жарко, душно, воняет керосином – чему только всегда радуется этот парнишка? – А это? Это еще что такое? – воскликнула она, с удивлением всматриваясь в угол кабины, густо залепленный головками красоток из цветных журналов.

– Это мы так... С Генькой-напарником... От нечего делать... – пробормотал Пека.

– Сказывай-сказывай! От нечего делать. Так я тебе и поверила. Когда в армию-то?

– Через год вроде.

– Не хочешь, пооди?

– Куда – в армию-то не хочу? – Тут уж Пека с насмешкой посмотрел на нее. – Ничего-то скажешь! В армию не хочу...

– Ну а из армии куда? Домой, да?

– Не знаю. Чего сейчас загадывать...

– Как не знаешь? А колхоз? А земля и подъем сельского хозяйства? – назидательно сказала Алька. В общем, показала, что она в курсе.

На Пеку, однако, это не произвело решительно никакого впечатления. Он широко, порбячьи открыл свой редкозубый розовый рот и даже сострил:

– Земли-то теперь хватает... Чего об земле беспокоиться... С Луны начали возить...

– А тебе серьезности не хватает, Каменный, вот что! – обрезала его Алька. – Все знают, что в деревне сейчас стало хорошо, а ты отрицаешь...

– Ничего не отрицаю...

– Сколько в месяц зарабатываешь?

– Я-то?

– Да.

– Нонека, наверно, сто пятьдесят выйдет...

– Ого! – Алька спрыгнула с подножки на поле. – Дак чего ты ухмыляешься?

– Дак ведь это только когда пашем, – уточнил Пека. – А зимой-то, когда на ремонте, по

двенадцать рублей...

– Но ты согласен, что жить стало лучше? – допытывалась Алька.

– Согласен. Только насчет лета согласен...

– Как это насчет лета?

– Как... Зимой-то снегом все занесет, к нам и не попадешь. Разве ты забыла? У нас у отца на рождество сердце прихватило, не могли «скорую помощь» вызвать. Думали, помрет...

Разговор становился неинтересным.

– Ну, желаю, – сказала Алька и пошла на дорогу.

Пека ее окликнул:

– Слушай-ко... А ты долго ли у нас будешь?

– Поживу. А что?

– Ну дак ты вот чего... знаешь-ко... Научи меня дрыгаться, ладно? Ты, говорят, мастак по этой части...

– Как это дрыгаться?

Пека, как бисером, осыпанный потом, тут просто закрутил головой:

– Ну, танцевать... Видала, какой у нас клуб отгрохали?

– Лады, – сказала Алька, – научу тебя дрыгаться. А ты мне трактором дашь поправить.

– Тебе? Трактором? – Пека от возмущения замахал обеими руками. – Ничего-то скажешь! Трактор-от техника. Права надо иметь.

Но Алька не привыкла, чтобы ей в чем-либо отказывали. Живо забралась в кабину – поехали!

Два раза они околесили поле. Пека на удивление уверенно орудовал рычагами и педалями, а она, конечно, не брыкалась: трактор не игрушка, и ей жить еще не надоело. Сидела, поглядывала в окошечко да на механизатора: ужасно важный стал. И не то чтобы улыбнуться или слово сказать, головы не повернул в ее сторону.

Прежним стал Пека, когда они подъехали к дороге и она выскочила из кабины.

– Ну, имеешь теперь представление, да?

– Имею. Приходи вечером, так и быть, научу дрыгаться. А ежели еще вымоешься, то и целоваться научу.

Алька захотела, размашистым шагом пошла домой, и долго, до тех пор пока не вышла из полей, не слышала сзади себя привычного рокота мотора.

\* \* \*

Аркадий Семенович, ежели начистоту говорить, так самый первый человек в ее нынешней жизни. В ресторан устроил, комнатенку – худо-бедно – для них с Томкой схлопотал, подарок к празднику – обязательно... Ну и что из того, что лысый да женатый? Подумаешь, раз-другой в месяц кудри евонные расчесать!

А она переживала, никак не могла вытравить из себя, как говорит ей Томка, деревенской дури...

Вот и сейчас: едва поднялась к тетке на верхотуру да увидела пустую избу – сроду не терпела одиночества – да вспомнила давешние теткинны слова («доколе будешь жить не бабой, не девкой?»), и заскребло, засосало на сердце...

Спасибо солнышку – оно вовремя вылезло из-за облака, заплясало во всех окошках. А при солнышке какая печаль?

Быстро вскочила на ноги, платье с себя долой, в таз эмалированный воды, и начала, как рыбина, плескаться на всю избу...

А потом Алька стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала свои зеленые бесшабашные глаза, свой жаркий ненасытный рот, полный крепких зубов, свои высокие литые груди...



После крынки топленого с румяной корочкой молока выпитого с белой шаньгой, Альке нестерпимо захотелось нырнуть в теткину кровать под белым кружевным покрывалом, но она тотчас же подавила в себе этот соблазн.

На почте еще не была, в магазин не заходила, Лидку с Первобытным не видала – ей ли дрыхать среди дня?

А потом что-то надо было делать с Васей-беленьким.

Вечор, по рассказам тетки, больше часу вертелся возле ихнего дома.

«А может, крутануть?» – вдруг подумала Алька. Чего это она решила из себя монашку корчить? Кто поверит?

Святош на этом свете и без нее хватает, а ей, когда приедет в город, будет, по крайности, хоть что Томке порассказать.

Она тщательно оделась (еще в городе порешила: каждый день выходить в новом) и не забыла, конечно, про свой малиновый купальник с вшитым белым ремешком и кармашком с молнией. Врете! Не застанете больше врасплох.

\* \* \*

Старушонку, ползающую в косогоре возле черемухового куста, Алька заметила, еще когда с теткой верхотуры смотрела на реку.

Думала, гадала: кто бы это? Что делает? Землянку собирает? Но землянка растет в косогоре пониже, а во-вторых, не так уж у них и густо этой землянки, чтобы на одном месте целый час топтаться.

И вот, когда она вышла из дому, – первым делом за изгородь: серый клетчатый платок все еще нырял там.

Христофоровна. Траву серпом собирает.

– Не могу далеко-то ходить, – заговорила Христофоровна, с превеликим трудом разгибая свою старую спину. – А все еще скотинку держу – овечка есть. Вот и кочкаю по своей вере – кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода теплая-теплая. Ноне все лето до потовины жарит. У меня девушки из городу жили – больно ндравилась наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по Паладьиной меже бегали.

– По Амосовской, – поправила старуху Алька.

– А нет, по Паладьиной, – сказала Христофоровна. – То раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старье, так говорим.

Христофоровна тяжело перевела дух – жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.

– У меня девушки все выспрашивали: как, говорят, с чего такая перемена? Это насчет межи-то – почему Паладя всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды, видно. Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла. Ну дак уж они меня извели: расскажи да расскажи про Паладю.

– И ты рассказывала?

– Как не рассказывала, раз просят. Все записали да в город увезли.

– А чего им мамина жизнь далась?

– А вот интересуются. Как да за что такая почесть, очень им это удивительно, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, бабушка, все равно что памятник. Памятники, вишь, в городах большим людям ставят. Каменные. Видала?

– Видала. Есть.

– Ну вот видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные.

Дальше, по всему видать, разговор у Христофоровны опять пошел бы о любившихся

ей девушках из города, и Алька с ней рассталась.

Но пошла не на деревню. Пошла под гору – материной тропой.

Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыло их дождями и вешними водами редкий год у них река не выходит из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете...

И еще она думала о том, что рассказывала студентам о матери старая Христофоровна.

Она не сомневалась: добрая старуха до небес расхваливала мать. Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трех человек на пекарне чертоломила...

А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб – это и есть самая большая человеческая радость?

А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала – любила поговорить: «Да у меня самая заглавная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я саму жизнь выпекаю...»

Паладьина межа... Межа родной матери...

Не часто, ох не часто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери...

\* \* \*

Всю дорогу, от деревенской горы до угора за рекой, где под старыми разлапистыми соснами стоит пекарня, настраивалась Алька на благочестивый лад и не могла настроиться.

Нет, не любила она пекарню. И хоть ей и приятно было снова вдохнуть в себя знакомый хлебный дух (он всегда и раньше тут заглушал запах смолы), встретиться глазами с большими окнами в белых наличниках, из которых она любила когда-то смотреть на теткин верхотуру за рекой, но разве могла она забыть, что эта пекарня в могилу свела ее мать? А потом – хлебнули с этой пекарней немало горюшка и они с отцом. Мать пришла из-за реки еле живая – на ком сорвать злость? На них с отцом. У людей грибы-ягоды nanoшены, а у них ни обабка, ни Ягодины нет – кто виноват? Они с отцом. А дрова, а вода – будь они прокляты! Сколько из-за них всегда ругани, реву!

Алька не долго стояла под соснами в глазах у пекарни – ей все казалось, что вот-вот с треском раскроется окно и оттуда закричит мать: «Чего стоишь – ворон считаешь? Дела тебе нету?!» И она, машинально, по старой привычке, одергивая коротенькую юбку (никак не думала, что сюда занесет), торопливо двинулась к крыльцу.

Замок. Большущий, старинный замок, который еще завела когда-то ее мать.

Хотела, хотела она побывать во владениях матери, специально отправилась за реку, растроганная задушевым словом Христофоровны, а раз двери на замке – чем она виновата?

Ноги живо-живо вынесли за пекарню на большую дорогу, а там раз-раз и поселок. Летовский лесопункт.

Было время, побегала она с пекарни в этот поселок за сладостями к чаю (мать у них любила покатасть во рту дешевенькую конфетку), и просто так, ради веселья.

А потом, когда подросла, начала строчить с деревенскими девками в клуб, на танцы.

Был обеденный час, когда Алька вошла в поселок.

Работяги по случаю получки (самый большой праздник!) косяками шатались по пыльной песчаной улице, и временами она чувствовала себя как в ресторане: так и жгли, так и калили ее и словом, и взглядом со всех сторон.

Зинка-тунеядка, узнав ее, бросилась ей на грудь, а потом, как всегда, захлебываясь пьяными слезами, начала показывать карточку своей дочери-школьницы, которая, по ее словам, будто бы живет с отцом в Ленинграде.

Попалась ей на глаза и Майя-большая – эта, видать, специально приперлась из-за реки,

чтобы поднакачаться дарового винца. Увидела ее, глаз угарный запылал, и с распростертыми объятиями навстречу: дескать, в дым, в доску люблю тебя, Алевтинка.

Но Алька еще из ума не выжила, чтобы с каждым пьяным огарком среди бела дня обниматься. Она зыркнула на старуху рассерженным взглядом – проваливай, с глаз моих убирайся! – и свернула к магазину.

Из-под сосен, от склада, ей кричали какие-то пьяные парни, звали к себе («Курносая, шлепай к нам!»), а она уж ни о чем не могла думать: магазин был перед глазами.

Страсть к магазинам ей передалась от матери. Как для той, бывало, не было большего праздника, чем зайти в магазин, так и для нее. В городе, к примеру, когда у нее выпадало свободное время, она не в кино первым делом бежала, а в магазин, в пестрое и пахучее царство шелков, шерстяных тканей, ситцев.

В общем, Алька, как на крыльях, влетела на крыльцо, кинулась к дверям и вдруг нос к носу столкнулась с Сережей.

Сережа выскочил из магазина пьяный – ее так и опажнуло водочным перегаром, а в руках у Сережи было еще по бутылке, а из кармана робы тоже торчала бутылка.

Ее, конечно, узнал – глаза выдали, так и метнулись за толстенными стеклами очков, но вид сделал: чужая.

А потом и вовсе ваньку начал ломать: ныром, чуть ли не на бровях пошел с крыльца.

– Дэвочку, дэвочку прихвати! – заготовали под соснами.

В ответ Сережа выкрикнул какую-то похабщину и лихо потряс бутылками, высоко поднятыми над головой.

А Алька смотрела на эти сверкающие на солнце бутылки, на его лохматую светлую голову, на длинную, нескладную фигуру в мешковатой, затертой мазутом и смолой робе, на его большие пропыленные и стоптанные сапоги, и ей просто не верилось, не хотелось верить, что это Сережа, Тот самый Сережа, из-за которого она еще совсем недавно, каких-нибудь три года назад, готова была выцарапать всем глаза.

Ах, как нравился ей тогда Сережа! Да и только ли ей одной. Все девки были без ума от него, а Аня Таборская, ихняя первая красавица, даже учиться после десятого класса не поехала. Устроилась счетоводом на лесопункте за рекой, только бы на глазах у Сережи быть – он как раз в то лето кончил институт и начал работать инженером.

И вот, как-то раз придя на танцы, Алька сказала себе: мой будет. Со мной из клуба пойдет.

Три года назад это было, целых три года, а у нее и сейчас, только от одного воспоминания, перехватило дыхание. Потому что кто она была три года назад против девок, против той же, скажем, Ани Таборской? А соплюха нахальная, малолеток, брыкающий ногами от радости, что он живет и дышит. У нее даже туфли были еще на низком каблуке. А главное – сам-то Сережа не замечал ее. Весь вечер танцевал то с одной, то с другой, а на нее и не взглянул.

Алька, однако, не растерялась. Дамский вальс! Сама заказала Геньке Хаймусову и чуть ли не бегом к Сереже – чтобы никто не опередил ее.

Сережа усмехнулся: что, мол, за малявка такая? Из какого детсада? Но встал, сделал одолжение. А через минуту-две уже с любопытством сверху вниз смотрел на нее.

Она сказала ему:

– Я с девчонками побилась об заклад, что ты меня пойдешь провожать. Пойдешь ведь, да? Не струсил?

– А у тебя есть разрешение от мамы?

Сережа и дальше в таком же духе острил и хорохорился, но из клуба они вышли вместе: побоялся спраздновать труса. Она знала, за что его зацепить.

Но, боже, как он стеснялся! За всю дорогу не сказал ни единого слова, а если кто попадался им навстречу, сгибался пополам.

И вот, когда они подошли к Аграфенину амбару (на самой дороге торчит, каждый пеший и конный натыкается), она сказала:

– Свернем за угол, у меня в туфлю песку напало.

– Можно, – сказал Сережа.

А когда свернули, она живо приподнялась на носки, обвила ему руками шею и крепко поцеловала в губы.

– Это для храбрости, – сказала она со смехом.

...Продавщица, старая знакомая, как только Алька вошла в магазин, выбежала из-за прилавка.

– Аличка, вот чудеса-ти! А я смотрю в окошко: кто, думаю, такая? Инженерова жена из города приехала? Который уж день ждет. А то вон кто – ты... – И Настя, так звали продавщицу, всплакнула.

Алька недолго пробыла в магазине. Она разговаривала с продавщицей, смотрела на полки, заваленные мануфактурой, а из головы не выходил Сережа: что он делает сейчас? Неужто до того докатился, что уже возле магазина пьет?

Нет, ни Сережи, ни его приятелей, когда она вышла из магазина, под соснами не было.

Там, на ящиках, лежала только смятая газета.

\* \* \*

Сосны, сосны красные...

Сколько их, этих сосен, вдоль дороги по обеим сторонам от поселка до перевоза? Может, двести, может, триста, а может, вся тысяча – кто считал? И чуть ли не под каждой сосной они целовались с Сережей.

Она закрутила и заворожила Сережу насмерть. Каждый раз, когда она появлялась на пекарне у матери, он поджидал ее в сосновом бору.

Но робел и стеснялся он по-прежнему. Пуше коры сосновой краснел – никак не мог забыть, что она ученица.

Ее веселило, – забавляло это, у нее голова кружилась от сознания собственной силы: вот какая она! Главным инженером лесопункта вертит как хочет, Аню Таборскую до сухотки довела... А потом настало время – до слез, до бешенства стала изводить ее Сережина стеснительность.

Ну что это за кавалер, который боится сам тебя поцеловать? Кто из них девка – она или он?

Сосны, сосны красные... Белый мох – ковер... Жаркий смоляной дух, такой знакомый и радостный, бил ей в лицо, в нос, злые слезы вскипали в ее зеленых беспечных глазах.

Ей жаль было прошлого, своей полузабытой лесной любви. И еще она никак не могла забыть своей недавней встречи с Сережей. Господи, до чего опустился, на кого стал похож!

Тетка и мать ей писали, что он запил, что его с инженеров сняли, но нет, она и подумать не могла, что он в такое болото нырнул. Ведь ежели правду сказать, что он делал, когда она столкнулась с ним на крыльце магазина? Каким делом занимался? А на побегушках у дружков-собутыльников был...

Из-за поворота дороги вышли навстречу три незнакомые женщины с алюминиевыми ведерками – за молоком в деревню ходили, остановились, тараща глаза: кто такая? Что за невиданная птица появилась в ихних краях?

А за этими тремя женщинами стали попадаться еще люди – подвыпившие мужики, парни, подростки, а там вскоре и Саха-перевозчик подал свой голос: из-под тоненькой беленькой рубашечки поднималась высокая грудь...

Не менялся пьяница Саха. Как пять, десять лет назад тосковал по красивой нездешней любви, так и теперь...

\* \* \*

Какой все-таки длинный день в деревне!

В городе, когда в ресторане крутишься, и не заметишь, как он промелькнет. А тут – в лес сходила, за реку сходила, с дролей своим бывшим встретила, у Сахи-перевозчика посидела – и все еще четвертый час.

Поднявшись в деревенский угор, Алька направилась к колхозной конторе, а точнее сказать, к Красной доске.

Доска большущая, с портретом Ленина... – кого прославляют?

Доярок. Одиннадцать человек занесено на Доску, и шестая среди них – кто бы вы думали? – Лидка. Ермолина Л. В. 376 литров надоила за июнь от коровы.

– Надо же! – пожала плечами Алька. – Лидка стахановка!

Дом Василия Игнатьевича, Лидкиного свекра, совсем близко от колхозной конторы, и она решила завалиться к Лидке – надо же посмотреть, как она со своим Первобытным устроилась.

Митя-первобытный, то есть муж Лидки, которого так расхваливала ей тетка, начал баловаться топором чуть ли не с пеленок (бывало, когда ни идешь мимо, все что-то в заулке тюкает), а потом и вовсе на топоре помешался.

После десятилетки даже в город, на потеху всем, ездил.

Специально, чтобы у тамошних мастеров плотничьему делу поучиться. И вот не зря, видно, ездил. Во всяком случае, Алька просто ахнула, когда дом Василия Игнатьевича увидела. Наличники новые, крыльцо новое – с резными балясинами, с кружевами, с завитушками всякими, скворечня в два этажа с петушком на макушке... В общем, не узнать старую развалину Василия Игнатьевича – терем-теремок.

Лидка, когда увидела ее в дверях, слова сперва не могла сказать от радости.

– А я ведь думала, Аля, ты ко мне и не зайдешь. В красных штанах ходишь – до меня ли?

– Выдумывай, – сказала Алька, – к подружке да не зайду! – Но от Лидкиных объятий (та даже слезы распустила) уклонилась.

Комната – ничего не скажешь – обставлена неплохо.

Кровать никелированная, двухспальная, под кружевным покрывалом, диван, комод под светлый дуб – это уж само собой, нынче этим добром никого не удивишь. Но тут было и еще кое-что. Был, к примеру, ковер во всю стену над кроватью, и ковер что надо, а не какая-нибудь там клеенка размалеванная, был приемник с проигрывателем, этажерка с книгами, со стопкой «Роман-газеты»...

– Это все Митя читает, – сказала Лида, и в голосе ее Алька уловила что-то вроде гордости. – Страсть как любит читать. Я иной раз проснусь, утро скоро, а он все еще в свою книжку смотрит.

Да, прибарахлилась Лидка знатно, отметила про себя Алька, снова, наметанным взглядом окидывая комнату, – избой не назовешь. Зато уж сама Лидка – караул! Ну кто, к примеру, сейчас в деревне шлепает в валенках летом? Разве что старик какой-нибудь, выживший из ума.

А Лидка ходила в валенках. И платьишко – халат тоже допотопной моды, с каким-то немислимым напуском в талии...

– Постой, постой! – вдруг сообразила Алька. – Да мы уж с накатом. Быстро же ты управилась! – Она подошла к швейной машинке, рядом со столом (Лидка как раз строчила на ней, когда она открыла двери), покрутила на пальце детскую распашонку.

– Я, наверно, в маму, Аля! – пролепетала Лидка, вся, до корней волос, заливаясь краской. – Мама говорит, с первой ночи понесла...

– Сказывай, сказывай! В маму... Мама, что ли, за тебя в голопузики с Митей играла...

Тут Лидка заплакала уж совсем невесть что, слезы застлали ей голубенькие бесхитростные глаза, так что Алька не рада была, что и разговор завела. И вообще ей, Альке, надо бы помнить, с кем она имеет дело. Ведь Лидка и раньше не ахти как умна была. Ну кто,

доучившись до шестого класса, не знает, отчего рождаются дети!

А Лидка не знала. Прибежала как-то к ней, Альке, домой – вся трясется, белее снега.

– Ой, ой, что я наделала...

– Да что?

– С Валькой Тетерным целовалась...

– Ну и что?

– А ежели забеременею?..

Оказывается, мать ей с малых лет крепко-накрепко внушила, что нельзя с ребятами целоваться, можно пузо нагулять, и вот эта дуреха до шестого класса верила этому...

Лида немного пришла в себя, когда они присели к столу и Алька стала выпрашивать ее про Сережу (никак с ума не шел!), но вскоре та опять огорошила ее – ни с того ни с сего заговорила про войну:

– Аля, ты в городе живешь... Как думаешь, будет война?

– Война? А зачем тебе война?

– Да мне-то не надо. Я этой войны больше всего на свете боюсь. Страсть как боюсь...

– А чего тебе бояться-то? – резонно заметила Алька. – У нас покамест пузатых баб на войну не берут.

И вот тут Лидка и брякнула:

– А ежели у меня не девочка, а мальчик будет...

В общем, разговор у них, как поняла Алька, так или иначе будет вращаться вокруг Лидкиного пуза или в лучшем случае вокруг коров и надоев молока – а что еще знает Лидка? Чего видела? – И Алька начала поглядывать по сторонам.

– Да посиди ты, посиди, Аля! Сейчас Митя придет, чай будем пить...

Лида не просила ее – упрашивала. Глядела на нее с восхищением, с обожанием («Ты еще красивше стала, Аля!»), и Алька осталась. А потом, что ни говори, – забавно все-таки взглянуть и на своего бывшего поклонника.

Митя, когда она еще в пятый класс ходила, объявил ей: «Амосова, я решил любовь с тобой займешь». Объявил, не поднимая глаз от земли, и тут же убежал прочь.

И вот сколько лет с тех лет прошло, а Митя каждый праздник присылал ей поздравления – цветные открытки с воркующими голубками и розами: Первого мая, в Октябрьскую, на Новый год, Восьмого марта... Один-единственный парень в деревне. И только с позапрошлой осени, с того самого времени, как она уехала в город, выбросил ее из головы.

Митины причуды – а без них у него не бывает – начались еще на подходе к дому: петухом прокричал. А когда влетел в комнату да увидел Лидку, и вовсе ошалел. Сгреб в охапку, поднял на руки, закружил.

В комнате сильно запахло свежим деревом, смолой, и Алька про себя съязвила: плотник женушку свою обнимает. Но на этом, пожалуй, ее злословие и кончилось. Потому что она вдруг поймала себя на том, что с удовольствием вдыхает в себя крепкий смолистый запах, который распространял вокруг Митя. Да и сам он теперь вовсе не казался ей смешным. А чего смешного? Сила лешья, ноги расставил – хоть на телеге езжай, и шея – столб. Красная, гладкая, в белом мягком волосе – как стружка древесная завивается. Лида звонко молотила Митю по широкой спине, не дури, мол, хватит. Но молотила одной рукой и со смехом, а другой-то грабасталась за эту шею, и видно было, что делает она это не без удовольствия.

Ее Митя заметил в ту самую минуту, когда ставил свою женушку на пол. Голову резко откинул назад, будто грудью на кол напоролся, и ни слова. Только глазами зверовато завзводил.

Да что с ним? Какая блоха его укусила? – подумала Алька. Она даже растерялась малость – так не вязалась с добряком Митей эта внезапная, ничем не прикрытая ненависть и злость.

Догадка озарила ее, когда Лида, как гусыня, переваливаясь в своих растоптанных

валенках, пошла собирать на стол.

Да ведь он это женушки своей застыдил, подумала Алька. Разглядел, какая она краля, когда увидел других.

И тут на Альку нашло. Она нарочно, чтобы еще больше разозлить Митю, подобралась и своей игривой, ресторанной походкой прошлась по комнате: на, гляди! Кусай себе локти!

Разъяснилось все через две-три минуты, когда с другой половины пришел Василий Игнатьевич.

\* \* \*

Василий Игнатьевич пришел по-домашнему, в подтяжках, – на чай к снохе.

Ее, не в пример своему полоумному сыну, заметил сразу.

– А, опять пути-дороги пересекаются!

Но больше и все. Никаких шуток. Сидел, попивал чаек из гладкого стакана с красным цветочком и все поглядывал на Лидку, а когда та, угощая его, называла папой, просто таял. Просто не узнать было старого похабника.

Митя очень важно, по-хозяйски надувшись, завел разговор насчет Лидкиной работы.

– Я считаю, папаша, – сказал Митя как на собрании, – пора подвести черту...

– Пожалуй, – согласился Василий Игнатьевич. – Доярок сейчас хватает. Зачем рисковать?

– Это может отразиться... – опять как-то по-ученому выразился Митя, на этот раз обращаясь уже к жене.

У Альки не хватило больше терпения – она так и прыснула со смеху. А чего на самом-то деле? Сидят да разоряются насчет Лидкиного пуза, когда и пузо-то еще в микроскоп рассматривать надо.

– Не слушай их, Лидка... Работай, знай, до последнего. Потом легче распечатываться будет...

И вот тут-то все скобки и раскрылись. Василий Игнатьевич с испугом взглянул на сноху, как если бы на ту зверь накинулся, а Митя... Митя, тот с яростью засверкал своими светлыми пронзительными глазищами.

В общем, она поняла: Лидку тут оберегают. С Лидкой носятся тут как с писаной торбой. Чтобы ни одна пылинка на нее не упала, чтобы ни одно худое слово не коснулось ее уха.

Гордость вздыбилась у Альки, так что в глазах потемнело.

Ах вы паразиты несчастные! Лидка паинька, вокруг Лидки забор вознесем, а с ней, с Алькой, все можно, она, Алька, огни и медные трубы прошла... Нет, постойте! Она еще своего слова не сказала. А может, может сполна всем выдать. И тому, Первобытному, – ишь корчит из себя строителя-новатора с книжечкой, и самому Василию Игнатьевичу – давно ли к ней свои старые лапы протягивал да на службу к себе заманивал? Ну, а Лидке, своей подруженьке, она тоже лекцию прочитает. Довольно из себя детсадовку разыгрывать...

Ничего из Алькиной затеи не вышло. Под окошками зафурчала, загудела машина с доярками, и все – и Митя, и Василий Игнатьевич – кинулись собирать Лидку...

\* \* \*

Дома, у тетки на верхотуре, все то же: старухи, пересуды... Внове для нее была разве Маня-маленькая – темная гора посреди избы.

– Пришла на горожаху поглядеть, – сказала она, как всегда, напрямик. – Говорят, в штанах красных ходишь.

– А чего ей не ходить-то? – угодливо ответила за Альку Маня-большая.

Тетка стала ее потчевать морошкой, – целая тарелка была выставлена на стол, сочной, желтой, как мед. Нашла-таки! И по этому случаю лицо Анисьи сияло.

Алька сбросила с ног туфли у порога, подседа к столу, но не успела рукой дотянуться до тарелки – Маня-большая подлетела, ткнулась на стул рядышком, нога на ногу, да еще и лапу ей на плечо – чем не кавалер!

– Не греби! Все равно больше других не получишь.

– Чего ты, Алевтинка?

– А то! не притворяйся! Думаешь, не знаю, из-за чего из кожи вон лезешь?

– По части веселья хочу...

– Веселье от тебя! Не знаю я, что у тебя на уме.

Все сразу примолкли – не одной Мане в глаз попало.

На той платок материн, на другой кофта, на третьей сарафан – кто в прошлом году на помин дал?

Анисья, добрая душа, чтобы как-то загладить выходку племянницы, перевела разговор на ее ухажеров.

– Не видела молодцов-то на улице? – сказала она. – Посмотри-ко, сколько их. Всяких – и наших, и городских.

Да, за окошком, куда указывала тетка, маячил Вася-беленький с товарищем, а дальше, у полевых ворот, мотался еще один кавалер – Пека Каменный. Вымылся, в белой рубашке пришел – давай «дрыгаться».

– Каждый день вот так у нас, – сказала тетка. – Как на дежурство являются.

Сказала с гордостью. На похвал: вот, мол, какая у меня племянница! А на кой дьявол племяннице эти кавалеры? И вообще, ей кричать, выть хотелось, крушить все на свете...

Всю дорогу от дома Василия Игнатьевича до дома тетки ломала она голову над тем, что произошло у Лидки, и до сей поры не могла понять. Да и произошло ли что?

Ну, сидели, ну, пили чай, ну, Василии Игнатьевич глаз со сношеньки не сводил, каждое слово ей сахарил. Ну и что? Сахари! Ей-то какое дело? И в конце концов плевать ей на тот переполох, который в доме поднялся, когда машина с доярками подъехала. Ах, какое событие! Скотница на свидание с рогатками собирается. Один кинулся в сени за сапогами, другой – Василий Игнатьевич – полез на печь за онучами... Пуцай! Дьявол с вами! Бегайте как угорелые, ползайте по горячим кирпичам, раз вам нравится...

Но вот чего никогда нельзя забыть – это того, что было после. После Лидкиного отъезда.

Василий Игнатьевич – это уж на улице, когда машина с доярками за поворотом дороги скрылась, – вынул из кармана трояк, подал Мите: «Бежи-ко к Дуньке за причасием, засушили гостью...» И куда девалось недавнее благообразие!

Глаза заиграли, засверкали – прежний гуляка! Можно! Теперь все можно, раз Лидки рядом нету. Это ведь при Лидке надо тень на плетень наводить, а при Альке чего же? Она, Алька, не в счет... Крепко, до боли закусив нижнюю губу – она всегда в ресторане так делает, когда капризный клиент попадает, – Алька решительно мотнула своей рыжей непокорной гривой: хватит про Лидку да про ейного плотника думать, больно много чести для них! И потребовала от тетки бутылку – пуцай старухи горло смочат.

Маня-большая – золотой все-таки характер у человека! – скокнула, топнула и бесом-бесом по избе, а потом как почала мести-скрести длинным язычником – со всех закоулков сплетни собрала.

К примеру, Петр Иванович. Алька все хотела спросить тетку: где теперь эта старая лиса? Почему не видать?

А он, оказывается, на дальний лесопункт со своей Тонечкой подался. Вроде как в гости к своему шуруину, а на самом деле – нельзя ли как-нибудь ученые косточки пристроить – Маня так и назвала Тонечку, потому как в своей деревне охотников до них нету.

– А ухажера-то своего видала? – вдруг спросила Маня.

– Какого? – спросила Алька и рассмеялась. Поди попробуй не рассмеяться, когда она на



тебя свой угарный глаз навела.

– Какого – какого... Первобытного!

Аграфена Длинные Зубы: ха-ха-ха! На другом конце деревни слышно – заржала. А Маня-маленькая, как всегда, – переспрашивать: про кого? Как в лесу живет – никогда ничего не знает.

– Про Митю Ермолина, – громко прокричала ей на ухо Маня-большая. – В школе, вишь, все руками, как немко, учителям отвечал, а не словами. Вот и прозвали Первобытным. В первобытности, говорят, так люди меж собой разговаривали. Верно, Алевтинка?

Тут тетка, как всегда, горячо вступилась за Митю, ее поддержала Маня-маленькая, Афанасьевна, и началась перебранка.

– Нет, нет, – говорила Анистья, – не хули Митю, Архиповна. На-ко, весь колхоз человек обстроил, все дворы скотные, постройки все – всё он... И не пьет, не курит...

– А все равно малахольный! – стояла на своем Маня.

– Да пошто ты самого-то нужного человека топчешь?

– А пото. В девятом классе на радио колхозное летом поставили, отцу уважение дали, а он что сделал? Бабусю на колхозные провода посадил?

Алька захохотала. Был такой случай, был. Митя крутил-крутил приемник – все надо знать, да и заснул, а по избам колхозников и запричитала лондонская бабуся.

Самому Мите, конечно, за возрастом ничего не было, а Василию Игнатьевичу всыпали.

– Да ведь это когда было-то? Что старое вспоминать? – сказала тетка.

– А можно и новенькое, – не унималась Маня. – Весной Лидка на сестрины похороны в район ездила – не вру? Два дня каких дома не была, а он ведь, Митя-то, ошалел. Бегом, прямо от коровника прилетел к почте да еще с топором. Всех людей перепугал. А Лидку-то встретил – не то чтобы обнять да поцеловать, а за голову схватил да давай вертеть. Едва без головы девку не оставил...

Алька улыбнулась. Похоже, очень похоже все это на Митю! Но чего тут смешного? Чего глупого?

А Маня-большая, приняв ее улыбку за одобрение, разошлась еще пуще: Митю в грязь, мать Митину в грязь (только не Василия Игнатьевича, того не посмела), а потом и Лидку в ту же кучу: дескать не бисер лопатой загребают – навоз.

Алька не перебивала старуху, не спешила накинуть на нее узду. Пуцай! Пуцай! Порезвится. Какую оплеуху закатил ей недавно Василий Игнатьевич, а Лидку – не тронь? Лидка принцесса?

Только уж потом, когда Майя добралась до Лидкиного брюха (кажется, все остальное ископытала), она сделала слабую попытку остановить старуху.

– Хватит, может. Ребенок-то еще не родился.

– И не родится! – запальчиво воскликнула Маня.

– Да не плети чего не надо-то! – Тетка тоже вспылила. – Понимаешь, чего мелешь?

– Огруха, – возвала к свидетелям Маня, – при тебе Лидку в район отправляли? В больницу?

– Ну дак что?

– Как что? Кабы здорова была, не возили каждый месяц на ростяжку.

– Хватит! Хватит, говорю! – Алка сама почувствовала, как вся кровь отхлынула от ее лица – до того ей вдруг стало стыдно за себя. Потом она увидела растерянное, угодливое старушечье лицо («Чего ты, Алевтинка? Разве не для тебя старалась?»), и уже не стыд, а чувство гадливости и отвращения к себе потрясли все ее существо.

И она иступленно, обеими руками заколотила по столу:

– Уходите! Уходите! Все уходите от меня...

\* \* \*

Алька плакала, плакала навзрыд, во весь голос, но Анисья и не подумала утешать ее. Закаменело сердце. Не бывало еще такого, чтобы из ее дома выгоняли гостей!

Только уж потом, когда Алька начала биться головой о стол, подала голос:

– Чего опять натворила? Я не знаю, ты со своими капризами когда и образумишься...

– Ох, тетка, тетка, – простонала Алька, – не спрашивай...

– Да пошто не спрашивай-то? Кто будет тебя спрашивать, ежели не тетка? Кто у тебя еще есть, кроме тетки-то?

В ответ на это Алька подняла от стола свое лицо, мокрое, распухшее, некрасивое (никогда в жизни Анисья не видала такого лица у племянницы) и опять уронила голову на стол. Со стуком, как мертвую.

И тогда разом пали все запоры в Анисьином сердце.

Потому что кто корчится, терзается на ее глазах? Кого треплет, рвет в клочья буря? Разве не живую ветку с амосовского дерева?

Она подседа к Альке, крепко, всхлипывая сама, обняла племянницу.

– Ну, ну, не сходи с ума-то... Выскажись, облегчи душу...

– Тетка, тетка, – еще пуще прежнего зарыдала Алька, – пошто меня никто не любит?

– Тебя? Да господь с тобой, как и язык-то повернется. Тебя, кажись, когда еще в зыбке лежала, ребята караулили...

– Нет, нет, тетка, я не про то... Я про другое...

И Анисья вдруг замолкла, перестала возражать. И это ее молчание стопудовым камнем придавило Альку.

Всю жизнь она думала: раз за тобой ребята гоняются, глазами тебя едят, обнимают, тискают, – значит, это и есть любовь. А оказывается, нет. Оказывается, это еще не любовь. А любовь у Лидки и Мити, у этих двух дурачков блаженных...

И самое ужасное было то, что она, Алька, верила, завидовала этой любви. Да, да, да! Она даже знала теперь, какой запах у настоящей любви. Запах свежей сосновой щепы и стружки...

– Может, чаю попьешь – лучше будет? – спросила Анисья.

Алька махнула рукой: помолчи, коли нечего сказать.

Потом встала, хотела было умыться и не дошла до рукомойника – пала на кровать.

Анисья быстрехонько разобрала постель, раздела ее, уложила в кровать, как ребенка, и, купаясь вместе с нею в мокрой, зареванной подушке, стала утешать ее похвальным словом – Алька с малых лет была падка на лесть:

– Ты посмотри-ко на себя-то. Тебе ль реветь – печалиться с такой красотой. Девочек скольких бог обидел, чтобы тебя такую сделать...

Алька мотала раскосмаченной головой: нет, нет, нет!

Так и она раньше думала – раз красивая, значит, и счастливая. А Лидку взять – какая красавица? Но, господи, чего бы она не дала сейчас, чтобы хоть один день у нее было то же самое, что она видала сегодня у Лидки.

Да, да, да! Лидка растрепа, Лидка дура, у Лидки с детства куриные мозги – все так.

И однако же не от кого-нибудь, а от Лидки узнала она про другую жизнь. И не просто узнала, а еще и увидела, как эту другую жизнь оберегает Василий Игнатьевич. Стеной. Как самый драгоценный клад. И от кого оберегает? А от нее, от Альки. И Алька билась, выворачивалась из рук тетки, грызла зубами подушку и, кажется, первый раз в своей жизни задавала себе вопрос: да кто же, кто же она такая? Она, Алька Амосова! И какой-то свет излучает эта дуручка Лидка, что все ее в пример ставят?

\* \* \*

– Алька, Алька, вставай...

Голос был не теткин, а какой-то тихий и невнятный, похожий на шелест березовой

листвы на ветру, да тетка и не могла ее будить: она лежала на полу, на старом ватном одеяле, раскинутом возле кровати (чтобы в любую минуту наготове быть, ежели она, Алька, позовет), и тихо посапывала.

«Да ведь это мама, мама зовет! – вдруг озарило Альку. – Как же я сразу-то не догадалась?»

Она тихонько, чтобы не разбудить тетку, встала, накинула на себя платье-халат, по старой скрипучей лестнице спустилась на крыльцо.

Утро еще только-только начиналось. Их дом на задворках, с белой шиферной крышей, сиял как розовый шатер, и много-много юрких ласточек резвилось вокруг него.

Ласточки для нее были внове – раньше они держались только вокруг теткиной верхотуры. Да и вообще Алька недолюбливала свой дом на задворках: невесело, в стороне от дороги, и хотя они с теткой сразу же, в первый день ее приезда, содрали с окошек доски, но жить-то она стала у тетки.

По узенькой, затравеневшей тропинке – никто теперь не ходит по ней, кроме тетки, – Алька выбежала на задворье, уткнулась в ворота – большие, широкие, с железным певучим кольцом, которое как собака заливается, когда брякнешь.

Ворота эти были гордостью матери – ни у кого во всей округе таких ворот не было, а не только в ихней деревне. А поставила она их, по ее же собственным словам, в видах Алькиной свадьбы – чтобы к самому крыльцу могли подъехать на машинах гости.

Лужок перед домом на усадьбе, который так любила мать, тетка недавно выкосила (всегда по два укуса за лето снимали), но красные и белые головки клевера уже снова рассыпались по нему, и Алька едва сделала шаг от калитки, как жгучей росой опалило ее босые ноги.

К крыльцу она подошла на цыпочках, крадучись, точь-в-точь как бывало, когда о восходе возвращалась домой с гулянки. Постояла, прислушиваясь (ах, если бы и на самом деле сейчас загремела в сенях рассерженная мать!), потом перевела дух и, взойдя на крыльцо, уперлась глазами в увесистый замок.

Без всякой надежды она сунула руку в выемку бревна за косяком и страшно обрадовалась: ключ был тут. В том самом месте, где его хранили при матери и отце.

Полутемные сени она проскочила чуть ли не с закрытыми глазами: с детства боялась темноты. Зато уж, перешагнув за порог избы, она вздохнула свободно, всей грудью.

Все тут было как раньше, как год и два назад: крашеный пол намыт до блеска, окна наглухо завешены кружевным тюлем, к которому так равнодушна была мать, в углу фикус-богатырь – его тетка перенесла от себя на другой же день ее приезда... Только пусто как-то, жилого духа нет. И еще, конечно, страшно было от вида голой железной кровати, на которой умерла мать.

– Мама, я пришла...

Алька подняла глаза к белому потолку, под которым жалобно плеснулся ее голос.

Нет, не так, дрожа от утраченного озноба, не полураздетой и не в мертвый дом хотела она прийти. Она хотела нагрянуть к живой матери, нагрянуть внезапно, шумно, с гордо поднятой головой. Смотри, смотри, родимая! Вот твоя дочь. Приехала в чужой город одна, без паспорта, тот подлец самым распоследним негодяем оказался – нуко, кто бы на ее месте не согнулся? А она не согнулась.

Она паспорт себе выхлопотала и на работу устроилась, да вдобавок еще того подлеца проучила – из армии выперла...

– Мама, чуешь ли, я пришла... – опять сказала Алька и обмерла: из сеней, за дверь, донеслось царапанье.

Они никогда особенно не верила в старушечьи рассказы про нечистую силу, но все-таки самообладание вернулось к ней только тогда, когда за дверь мяукнуло.

– Бусик, Бусик!

Она распахнула дверь, и точно – он, Бусик, их пушистый кот-великан.

Занавески на окнах цвели алыми кустами иван-чая, уже на белой простыне, которой

был укутан самовар на комод, заиграли солнечные зайчики, а Алька все сидела с Бусиком на коленях у стола, гладила, прижимала его к себе и жадно вслушивалась в жалобное мурлыканье.

О чем он поет-плачет? На что жалуется? На одиночество? На тоску свою? А может, он пытается на своем кошачьем языке рассказать ей про то, как умирала мать, какие она наказывала передавала дочери перед смертью?

Слезы текли по пылающим Алькиным щекам. Да как же это так? Кошка, зверь дикий, верен хозяйке, даже после смерти ее из дому не уходит, а она, дочь родная, бросила родительский дом, на город променяла...

– Мама, мама, я останусь. Слышишь? Никуда больше не поеду...

Утреннее солнце заливало комнату. Бусик распевал какую-то новую песню. И, странное дело, в ней самой начала расти и подниматься песенная радость.

Больше она не могла сидеть. Выбежала на улицу, широко раскинула навстречу солнцу свои руки и уже не по тропинке, не с покаянно опущенной головой, как входила еще недавно в свой дом, а напрямик по росистому лужку построчила к тетке.

– Тетка, тетка, я остаюсь!

Она налетела на сонную Анисью, как вихрь, как буря, и та сперва никак не могла взять в толк, о чем говорит племянница.

– Да где ты хочешь остаться-то? Чего еще выдумала?

– Дома, дома, тетка! – твердила Алька и чуть ли не приплясывала от радости. – Я все, все, тетка, обдумала.

Вдвоем жить будем. И мамина и папина могилы рядом – всегда можно сходить. Верно, тетка?

\* \* \*

Решительности Альке было не занимать – у нее был материн характер, и она, конечно, в тот же день отправилась бы в город за расчетом и вещами, да ее удерживали деньги.

Деньги – пятьсот рублей – остатки от распроданного родительского добра она в день своего отъезда отдала Томке, с тем, чтобы та послала их ей дней через пять в деревню: то-то у людей будет разговоров, когда она получит такие деньжищи!

И вот из-за этой-то своей затеи она и должна была сидеть на якоре.

Впрочем, времени зря Алька не теряла.

Первым делом она перебралась в свой родной дом на задворках. И, боже, сколько радости, сколько счастья она испытала, когда по утрам сама топила печь, сама мыла пол, сама грела самовар. А какое это было наслаждение ходить босиком по чистому, намытому дому!

Дом был просторный, светлый, и она сама удивлялась своей глупости, своей слепоте. В городе они с Томкой снимали какую-то темную конуру, на окраине, а тут в это время пустовал целый дворец.

Да и вообще – все чаще и чаще задавалась вопросом Алька, – что она нашла в городе? Ради чего бросила отца с матерью, дом родной? Ради того, чтобы пьяных мужиков ублажать в ресторане, пятаки из них выколачивать? Или, может, ради Аркадия Семеновича?

Да, да, говорила себе Алька, буду жить в деревне, у себя дома. По-новому. Совсем, совсем иначе, чем раньше. И она уже, по существу, жила этой новой жизнью: днем вместе с колхозниками работала на лугу, а по вечерам, как и положено хорошей, самостоятельной девушке, сидела дома за шитьем (в жизни никогда не шила!) или что-нибудь делала по хозяйству на улице.

Мане-большой эти Алькины выкрутасы (иначе она их не называла) были как нож по сердцу – не выпьешь, да, пожалуй, и Анисья не очень-то радовалась. Во всяком случае, она с тревогой и даже с каким-то страхом присматривалась к столь круто переменившейся

племяннице.

Альку это забавляло, трогало до слез, и у нее еще пуще разжигались честолюбивые помыслы.

Работать только в колхозе – это она решила твердо.

И обязательно дояркой. Как Лидка! Да, да! Только дояркой. Про официанток кто когда в газетах писал? А про доярок пишут постоянно, с портретами. Доярка по нынешним временам первый человек в деревне. И неужели же она кому-нибудь уступит? Неужели ей не обставить хоть ту же Лидку-растяпу или Верку Девятую? Врете! Заранее заказывайте орден, а то и звездочку золотую. Ее мать – Пелагею Амосову – все железной называли, а разве она не дочь своей матери?

В буйно разыгравшемся воображении сама собой сложилась и будущая семейная жизнь. И опять же как у Лидки. С таким же любящим свекром и с таким же преданным и покорным мужем. Правда, второго Мити Ермолина на свете не было – тут хоть лопни, ничего не поделаешь, да Алька недолго из-за этого горевала.

Ей вдруг пришла на ум сногшибательная идея – сделать человека из Сережи. А что? Разве не из-за нее, не из-за Альки пропадает человек? Разве не писала ей еще мать, что Сережа готов в любое время ее, Альку, за себя взять? Да в этом она и сама на днях убедилась, когда нос к носу столкнулась с ним у магазина за рекой. Ну-ко, стал бы парень смываться с ее глаз, уводить своих дружков-приятелей, ежели бы не любил?

Дни шли за днями. Алька упивалась своей новой ролью – ролью благообразной и непорочной невесты.

И она даже взгрустнула малость, когда от Томки пришел перевод.

Жуть все-таки, что это такое город! Народу на одной пристани раз в сто больше, чем во всей ихней деревне.

И, помнится, когда два года назад, в это же самое время, она впервые с парохода увидела это пестрое, гудящее многолюдье, у нее ноги к палубе приросли – до того ей вдруг стало страшно затеряться в этом муравейнике.

Зато сегодня – фигушки!

Первой сбежала по сходням, первой, как ящерица, заныряла в расщелинах толпы. «Извиняюсь», «Не нарочно», «Спешу» – и всем улыбка. А кое-где и локотком подсобляла.

На белых мачтах по случаю какого-то праздника полоскались яркие, разноцветные флаги, подвыпившие мужики и волосатые мальчишки откровенно пялили на нее глаза, и, вообще, город был прекрасен. И – чего крутить – вздохнула Алька. Жалковато ей стало всего этого великолепия, с которым не сегодня-завтра надо расстаться.

На веселом, гремучем трамвайчике, разукрашенном красными и синими флажками, она быстро добралась до своей Зеленой улицы, а там пять-семь минут скачек по деревянным разбитым мосткам возле старых, давно уже приговоренных к сносу развалюх, и ихняя с Томкой дыра.

Комнатенка в одно окно, да и то в сарай с дровами упирается, зимой холод собачий и весь год крысы. Иной раз ночью такой стукоток в коридоре поднимут – не то что выйти, в кровати пошевелиться страшно. Аркадий Семенович самое расчестное слово дал им с Томкой – этой осенью обязательно переселить в новый дом, а теперь, когда его сняли, на что рассчитывать?

Ох, да чего о жилье беспокоиться, усмехнулась про себя Алька, открывая калитку. На все теперь ей плевать с высокой колокольни – и на новую квартиру, и на самого Аркадия Семеновича. Со всем развязалась. Напрочь!

Томка была дома – окошко настезь и проигрыватель на всю катушку. Неужели с хахалем? (Томка любила крутить любовь под музыку.)

Но раздумывать было некогда. Во-первых, она, Алька, страсть как соскучилась по Томке, а во-вторых, велика важность, ежели и хахаль. Слава богу, за два года они повидали кавалеров – и она у Томки, и Томка у нее.

С бьющимся, прямо-таки скачущим сердцем Алька взлетела на шатучее деревянное

крылечко рядом с уборной, вихрем пронеслась по темному коридорчику, с силой дернула на себя дверь – иначе не откроешь, и вот Томка, ее золотая Томка. Сидит на диванчике, нога на ногу (это уж завсегда – длинные ноги напоказ) и в руке сигаретка.

– Я, между прочим, так и знала, что ты не выдержишь больше двух недель в своей распрекрасной деревне...

В общем, заговорила, как всегда, с подковыром, свысока: на пять лет старше. А потом, стюардесса международных линий, по-английски лопочет – как же перед официанткой нос не задрать? Но в душе-то Томка была добрющая, как тетка: последнюю рубашку отдаст, если попросить. А потому Алька, не обращая внимания на воркотню, с пылом, с жаром начала обнимать ее.

– Ну, ну, не люблю телячьих нежностей. Давай лучше про подъем сельского хозяйства... Как там двинула свой колхоз?..

Алька села рядом на диванчике.

– Не смейся, Томка... Я все... Я в деревню решила!..

– Вот как! Какой-нибудь механизатор-передовик предложил тебе свое сердце и буренку в придачу? Так?

– Да нет, Томка, я всерьез. Я насовсем...

– А позволь тебя спросить, если не секрет, что ты там собираешься делать? В этом самом – сельском раю?..

– Работы в колхозе найдется... – Алька почему-то постеснялась сказать, что она хочет идти в доярки.

– Ну, ладно, – Томка встала, – о твоих сельскохозяйственных планах мы еще поговорим, а сейчас поедem на вечеринку. Я уж и так опаздываю.

– На какую вечеринку?

– Во вечеринка! – Томка от восторга щелкнула пальцами. – У Гошки день рождения сегодня – представляешь, какой сабантуйчик будет? Достали катер, так что на ночь вниз по матушке по Волге, куда-то на луг сено нюхать... Представляешь?

Алька представляла. Бывала она в компании Томкиных дружков-летчиков. Весельчаки! Анекдоты начнут рассказывать – обхохочешься. А танцевать какие мастера!

Особенно этот Гошка-цыган... Но нет, покончено со всем этим. Завязано!

– Не дури, Алевтина! – повысила голос Томка. – Между прочим, я говорила с начальством насчет твоей работы. Примут. Ну, а если ты еще сегодня кое-кому там задом крутанешь – железно выйдет.

– Нет, Томка, – вздохнула Алька, – чего ерунду говорить. Какая из меня стюардесса – языка не знаю...

– Балда! Она языка не знает... Мужики, если хочешь знать, во всем мире только один язык и понимают – тот, на котором глазом работают да задом вертят. Да, да, да! А ты этим международным языком владеешь – будь спок! И потом, на самолете не одна стюардесса. Моя напарница, например, Ларка, как тебе известно, ни в зуб ногой по-английски, на русском-то языке не всегда поймешь, что говорит, а тарелки этим мистерам и сэрам куда как ловко подает...

Тут Томка, словно для того, чтобы еще больше растравить Альку, которая еще недавно взасос мечтала о работе в аэропорту, начала надевать на себя новенькую летную форму: синюю мини-юбочку, синий кителек с золотыми крылышками на рукаве и синюю пилотку. Летная форма очень шла Томке. Она как-то смягчала ее сухую, долговязую фигуру, делала женственней.

– Ну так как? – сказала Томка, подрисовывая красным карандашом губы перед зеркалом. – Поехали? Имей в виду, что жрать у меня нечего, так что тебе все равно придется в магазин топать...

– Ладно, Томка, иди...

– Чего ладно? На вечер нельзя? Да ты, может, там в своей деревне в секту какую записалась? Нет? Понятно, понятно. У тебя сегодня вечером свидание со своим кучерявым

папочкой... – Томка так называла Аркадия Семеновича. – Ну что ж, желаю!

Она дошла до дверей, обернулась:

– Если надумаешь все же приехать, адрес – Лесная, тридцать два. Помнишь, в прошлом году май встречали у Васильченки, Гошкиного друга? В общем, координаты известны.

Сердито процокали каблуки в коридорчике, брякнуло железное кольцо в воротах (совсем как в деревне), потом два-три приглушенных тычка на деревянных мостках, и Томка вылетела в сияющий, праздничный мир.

Алька встала. Она хотела завести проигрыватель и вдруг со стоном, с ревом бросилась на кровать. Ну что же, что же это такое? Куда девалась ее решимость?

Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? Она плакала, ругательски ругала себя, а сама неудержимо тянулась к Гошкиным друзьям, к ихнему бездумному веселью...

\* \* \*

Два года цветным дождем сыпались на Анисью открытки – голубые, красные, желтые, зеленые, с диковинными нездешними картинками, с короткими Алькиными приписками: «Ау, тетка!», «Привет, тетка!», «Хорошо на свете жить, тетка!..»

– Да чего ей на одном-то месте не сидится? – сокрушалась Анисья. – В кого она только и уродилась?

– Пуцай! – говорила Маня-большая. – Мать нигде дальше района не бывала, бабка всю жизнь у печи высидела, ты весь век на привязи... Да она, может, за всех вас, за весь род свой отлетать да отъездить хочет...

– А жить-то она думает, нет? Когда и вить свое гнездо, как не в ее годы? Аля ждет, когда дом совсем развалится?

Дом на задворках ветшал и дряхлел на глазах. Он вдруг как-то весь скособочился, осел, а в непогоду, сырость просто сил не было смотреть на его заплаканные окна: так и кажется, что он рыдает.

И однако все эти Анисьины тревоги и переживания были сущими пустяками по сравнению с той грозой, которая разразилась над ней однажды осенью.

От Альки пришло письмо. Короткое, без объяснений.

Как приказ: дом на задворках продать и деньги немедля выслать ей.

За всю жизнь Анисья ни разу не перечила ни Алькиной матери, ни ей самой. Все делала по их первому слову, сама угадывала их желания. А тут уперлась, встала на дыбы: покуда жива, не бывать дому в чужих руках. Не для того отец твой да мать жизнь свою положили, муки приняли...

В общем – не дрогнула. Высказала все, что думала.

А слегла уже потом, когда отнесла письмо на почту.

Осенний дождик тихо, как мышь, скребся в окошко за кроватью, железное кольцо чуть слышно позвякивало на крыльце...

Знала, понимала – не Алька там, ветер. А вот поди ты, в каждый шорох со страхом вслушивалась, ждала: вот-вот откроется дверь и на пороге появится беззаботная, улыбающаяся Алька.

– Тетка, а я ведь нашла покупателя. Ну-ко, собирай скорее на стол, обмоем это дело...

1971